

Вера Панова

Рабочий поселок

Саша

Рано утром

Вера Панова
Рабочий поселок
Саша Рано утром

ВЕРА ПАНОВА

ПОВЕСТИ

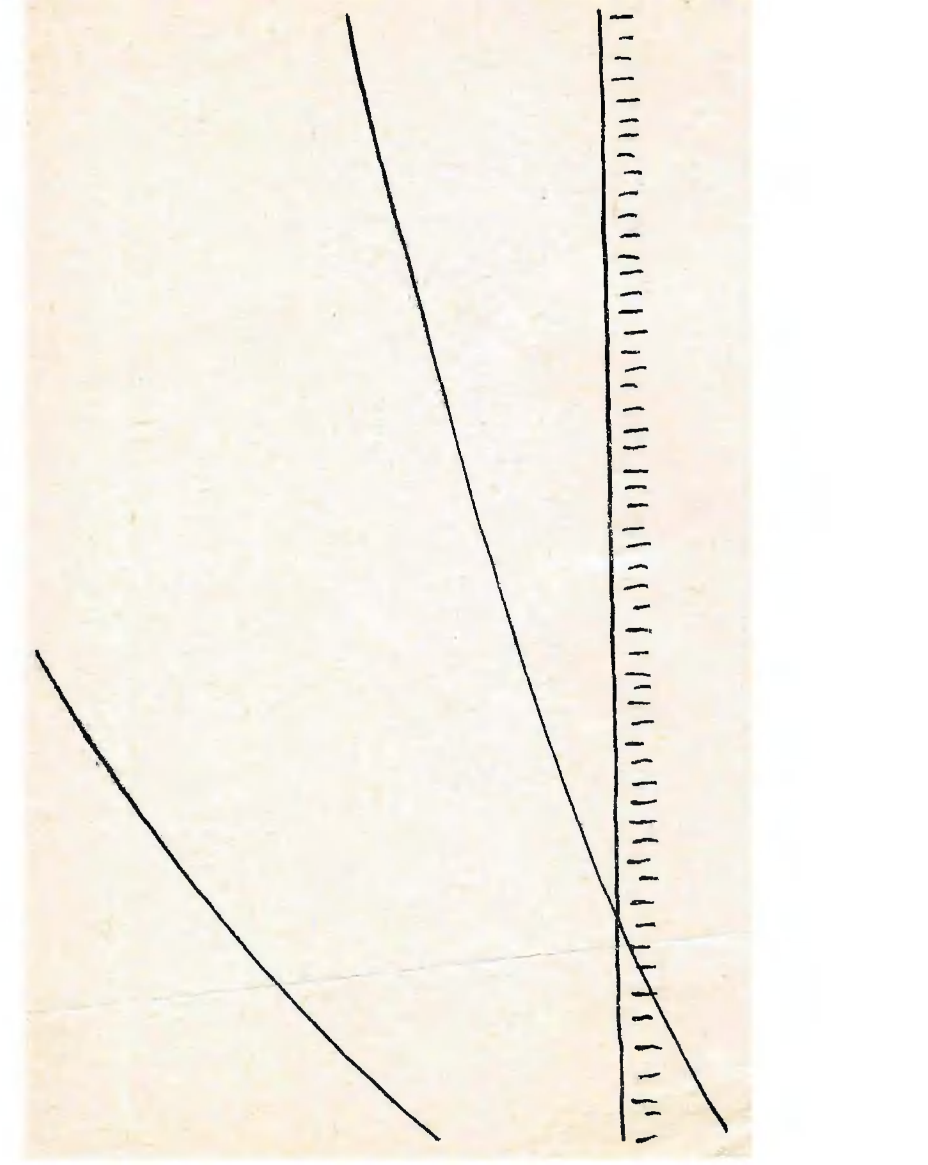
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

САША

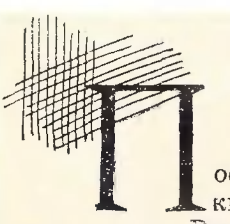
РАНО УТРОМ

1966

ЛЕНИЗДАТ



РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК



Поселок этот стоит у реки.

Река течет широко, медленно и серебряно. Скобкой через нее переброшен мост.

До войны в поселке было много старых деревянных домов: таких почернелых, одноэтажных и двухэтажных, с цветами на окнах. Но и новых, в пять этажей, уже стояла целая улица. Некрасивые были эти дома первых пятилеток, вот уж излишеств ни малейших, все как один голые, пятнисто-серые, с ржавыми прутьями балконов. Но селились в них охотно, потому что там был водопровод, паровое отопление и другие культурные условия.

Поселок лепился вокруг большого завода. Не будь завода, не было б и поселка. Старинный завод, трубы толстые и тонкие, царство закоптелого стекла, закоптелого кирпича и дымов, поднимающихся в небо.

Кругом темнели леса. За лесами лежали деревни. Многие рабочие жили в деревнях, иные даже в дальних, и на работу приезжали поездом.

И с того берега каждое утро приходил поезд. С грохотом шел он по мосту. Люди высаживались из вагонов и спешили к проходной.

Среди тысяч рабочих были на заводе трое молодых мужчин, трое приятелей: Леонид Плещеев, Алексей Прохоров и Григорий Шалагин.

Плещеев самый старший из них, у него уже сын был шестилетний.

Прохоров женился недавно, детей еще не было.

Шалагин жил у матери-колхозницы в деревне Подборовье, километрах в восьмидесяти, пил молоко по утрам и вечерам и был холостой и вольный.

Может быть, их сближала работа. Может быть — то, что все трое относились к жизни основательно, без озорства, и на этой почве друг друга уважали. В общем, их часто видели вместе, хотя Плещеев много времени уделял семье, Прохоров переживал медовые месяцы с молодой женой, а вольный Шалагин любил позубоскалить и погулять с девушками, которые очень и очень к нему хорошо относились.

Однажды летним утром они подходили к проходной и вдруг услыхали дальний гул, слабый и

прерывистый. Он шел сверху. Но не был похож на рокот наших самолетов. Что такое? — подумали люди и приостановились, подняв головы...

Так для них началась война.

Дальний голос ее приближался, грубел, свирепел... То был первый налет, и после него не стало одного деревянного дома — в нем, слава богу, никого не было, все выбежали глядеть на самолеты, — и не стало моста: вся его середина обрушилась, казалось — два гиганта стоят на коленях друг против друга на берегах реки, бессильно опустив руки в воду.

К заводу немцы не пробились, но фронт пролег совсем близко, и поселок сполна испил чашу горькой беды.

Сначала трубы завода еще дымили. Всё меньше, но дымили. Потом работать никакой не стало возможности.

Сначала старались женщины (мужчины, за которыми женщины могут укрыться, ушли воевать), — старались женщины, кто не так слабонервный, удержаться в своих жилищах. Как ни страшно — цеплялись за свое место. Тяжко с детьми, с немощными стариками, с трудно нажитым, для жизни необходимым добром ринуться в бездомность, безвестность. Не цыганки же, не бродяжки: жительницы.

Но всё-таки постепенно пустел поселок. А когда грянули решающие бои — самые отчаянные не выдержали, ушли в лес, унося что можно.

Скоро у меня это рассказалось, а дело длилось не дни, не месяцы — длинные годы. Чего не было, сколько народу полегло в битвах, блокадах, оккупациях, пока они тут сидели в поселке, поливаемые снарядами из пушек и бомбами из облаков, и берегли капельку тепла в своем очаге...

Ушли-таки, забубенные головы, в лес. И хорошо сделали. Когда стих наконец-то ад и настал день возвращения, и потянулись жители из лесу со своими узлами и мешками (а кто и с корытом; кто с кроватью, разобранной и сложенной, были и такие предусмотрительные; кто козу ведет, кто коровку), — в день возвращения жители не увидели своего поселка: только груды праха да печные трубы среди праха. Больших домов не осталось. Редко где уцелела одна, другая, старая деревянная изба. Сбивались в каждой избе десятки душ. Остальные — а что делать? — землянки стали копать, ставить хибарки.

Помаленьку объявлялись и те, кто эвакуировался в тыл. И тем же занялись: копают, сбивают себе жилье на скорую руку. Временное жилье, а всё же: кровлю нужно. Печку нужно. Дверь нужно.

Старались, не ленились, и это не жизнь была, а только подготовка к ней, настоящая жизнь всё маячила впереди, и они к ней рвались, и сколько на это рвение сил уходило — поди сосчитай...

Полина Прохорова долго рылась в развалинах, устала, присела отдохнуть над кучкой скарба, в поте лица ею собранного. Кучка была увенчана паровым утюгом. Деревянная его рукоятка превратилась в уголь, но сам утюг уцелел.

Когда-то семья Прохоровых жила на этом месте. Здесь стоял пятиэтажный дом. Здесь было Полинино счастье. Сейчас — тенями бродили по пепелищу женщины и дети, что-то выбирали из-под камней и пепла — остатки порушенной, поруганной своей жизни.

Небольшим казалось пепелище, не верилось даже, что столько тут жило народу, столько было квартир, и окон, и абажуров в окнах.

К Полине подсела Тоня, фельдшерица. Когда-то, в школе, они были подружками, потом разошлись дороги. Полина вышла замуж, Тоня нет. Полина всю войну оставалась с родителями мужа, Тоня уехала, работала в прифронтовых госпиталях, вернулась недавно. Полина была красивая, видная, Тоня — худенькая, бесцветная, незаметная.

— Полина, — сказала Тоня, — я хотела тебе сказать. Старики обижаются очень.

Полина смотрела прямо перед собой.

— Не лезли бы старики, — сказала она.

— Поля... Ты память Алеши беречь должна.

— А твое какое дело, ты тут при чем? — спросила Полина.

— Вчера опять, говорят, до света гуляла...

Полина повернулась к Тоне:

— А что мне, под землей с ними сидеть? Стариковским ихним духом дышать? Я под землей — как в гробу! И что я вам далась, сами-то святые! Думаешь — поверю, что ты в армии ни с кем дела не имела? Целую роту небось перебрала.

— Ну вот клянусь тебе!.. — в ужасе сказала Тоня, прижимая руки к груди.

— А не клянись, — оборвала Полина и встала. — Нужны мне твои клятвы... Но и в мою душу не лезьте!

Леня Плещеев вытащил из груды обломков исковерканный, непонятный предмет и закричал радостно:

— Мам! Посмотри, что я нашел!

Для десятилетнего и такое занятие — игра, и всякая находка — трофей.

— Что такое? — спросил Павка, товарищ Лени.

— Мамина шляпа. — Леня подул на изуродованную шляпу. — Мам! Смотри! Вот. Цветы...

— О господи, Ленечка, — лихорадочно сказала Мария, не отрываясь от поисков. Она была в ватнике, голова обмотана платком, лицо запылено. — Всё не то ты находишь. Отцов ящик с инструментами, вот что ищи.

Но Полина подошла к Лёне и взяла шляпу из его рук.

— Ты смотри, пожалуйста, — сказала она.

— У мамы две было! — похвалился Леня.

— Надо же! — сказала Полина. — Вот уж чему не пропасть... — Она со злобой отшвырнула шляпу. Взметнулось облачко пепла.

— Ящик с инструментами, — бормотала Мария, не видя ничего. — Неужели же сгорел, неужели железный ящик с железными инструментами, и сгорел?!

— Сгори всё, — сказала Полина. — Подумаешь, ящик с инструментами!

— Можно подумать, я кроме этого ящика ничем не пострадала, — сказала Мария, задетая. — Я не меньше твоего пострадала!

— Меняюсь! — уходя, жестко бросила Полина. — Хочешь?

— Ой, Ленечка, — бормотала Мария, роясь в обломках, — Ленечка, ой да неужели... Ленечка, нашла! — раздался ее радостный вскрик.

Леня и Павка бросились к ней, втроем они стали нетерпеливо разгребать обломки.

А причина радости была: покореженный железный ящик, в нем молоток да клещи, да топорик, да плоскогубцы, да пилы без рам и прочий простой рабочий инструмент.

Инструмент был нужен Марии, чтобы хоть какое построить жилье для семьи — для мужа и сына.

Вот сидит ее муж на солнышке. Он пробовал ей помогать. Досок им выдали, он с сынишкой доски носил... Он вернулся живой, Мариин муж Леонид Плещеев, с руками и с ногами вернулся — но слепой. Ослеп после ранения. Распилить доску — это кой-как можно, если жена направит его руку. Повыдергать из старых досок гнутые гвозди — это он был в силах и без подмоги. Он пытался выпрямить один гвоздь молотком; но попал себе по пальцам и бросил это дело. В ожидании, какую еще дадут ему работу, сидел и перебирал инструменты. Нащупал в ящике лекало, повертел, бросил...

Самим бы, конечно, ничего им не построить. Но приходили люди — кто на час, кто на два — и помогали. Вдова Капустина приходила, мать Лёниного товарища Павки. Павка вертелся тут же. На грузовике подъезжал шофёр Ахрамович, гигант с добрыми глазами, всегда под мухой немножко. Подмигнув Плещееву, словно тот мог видеть его подмигиванье, Ахрамович доставал из кабины флягу, давал Плещееву хлебнуть, отхлебывал сам и брался за работу.

А Мария, женщина хрупкая, работала неумело, но без устали, горячечно. Она вообще в постоянной была горячке — на нервном накале тянула все эти годы небывалых бедствий.

— Ну вот, и стены есть, — звенел ее голос. — А где четыре стены — там дом. А где дом, там и жизнь. Тоня бинтов обещала дать, покрашу синькой, голубые занавески сошью. Всё приложится постепенно, пойдет жизнь, куда ж она денется, господи...

Неподалеку остановилась молодая женщина, недурная собой, в платочке по-деревенски и с кошелкой в руке.

— Помогай боже, — сказала она.

— Спасибо, — сказала Мария. — Не здешняя?

— Приезжая, — степенно объяснила женщина. — По вербовке, на восстановление народного хозяйства. Муж-то больной?

— Не повезло нам, — тяжко вздохнула Мария.

— Бог, значит, судья, — сказала женщина. — Молиться надо.

— Исцелит, что ли?

— Его святая воля, захочет — и исцелит.

— Если б я вот столечко верила, что это может быть, — сказала Мария.

— А ты молись. Будешь молиться, и вера придет. Сейчас ты в темноте, не хуже как хозяин твой. А в молитве свет увидишь. Ну, Христос с вами, — сказала женщина и пошла.

— Сама ты темнота, — сказала Мария. — Господи, и какого только народу на свете нет!

Заводоуправление временно помещалось в бараке. Кабинет директора был обставлен скудно, по-бивуачному.

К директору Сотникову пришел предзавкома Мошкин, маленький хмурый человек в потрепанном кителе без погон.

Сотников разговаривал по телефону. Еще человека два сидели тут, ожидая, пока он освободится.

— Я бы просил уточнить, — говорил Сотников. — Бульдозеров — сколько? Цемента? Железа?.. Мало. Мало. Мало. Что ж торговаться, вы же знаете обстановку. Всё начинаем заново. И людей, людей, как можно больше людей!.. Хорошо. Ждем.

Мошкин сел и расстегнул нагрудный карман. Достал бумагу и положил на стол.

— Я вас слушаю, товарищ Мошкин.

— Собрание рабочих бывшего цеха номер два, — сказал Мошкин, — приняло резолюцию. Не тратить людей и средства́ на строительство бараков. Обратить все ресурсы на восстановление завода. Собра-

ние призывает весь коллектив присоединиться к этому решению.

— А где, — спросил Сотников, — думают жить рабочие цеха номер два?

— Они постановили зимовать в землянках и времянках.

— А те, кто к нам едет на помощь, — спросил Сотников, — они как? Тоже будут рыть землянки? Каждый себе? Изроем землю, как кроты? — Он читал резолюцию. — Вот как: и школу туда же? Детям не учиться?

— Школа может обойтись и постройкой барачного типа.

— Мы достали прекрасный проект школы, — сказал Сотников. Взглядом он как бы пригласил присутствующих порадоваться этой удаче. — С учебными кабинетами, с залом для спорта. Ну, это, конечно, на будущее. Пока что один этаж возведем — но как следует, капитально, чтоб потом расширять! Уважим детишек... Что касается жилья — в ударном порядке будем ставить бараки. До лучших времен. Чтобы ни один человек не думал — где ему приклонить голову, когда зима грянет.

— Не понимаю, — сказал Мошкин, — почему вы против этой резолюции? Она патриотическая...

— А потому что, — ответил Сотников, — если вы хотите иметь от человека хорошую работу, потрудитесь подумать, чтоб этому человеку получше жилось. В этом, между прочим, патриотизм, а не в том, чтобы держать рабочего в землянке. И вы очень хорошо знаете, товарищ Мошкин, что рабочие не сами додумались до этой резолюции.

— Никто их не заставлял, — сказал Мошкин. — Сами поднимали руки.

— Конечно сами, — сказал Сотников. — Уж кому-кому, а вам известно, как надо ставить вопрос, на каких струнах играть, чтобы люди подняли руки.

— За десятью зайцами, значит, погнались, — сказал Мошкин, нервно убирая свою бумагу и застегивая карман. — А если не справимся, тогда что?

— Не справимся, — отвечу я, — сказал Сотников и отвернулся к другому посетителю.

— Ясно, не справимся! — уходя, тихо сказал Мошкин третьему посетителю. — Всё фантазии, лишь бы власть показать. Видали барина — «отвечу я»! — украдкой передразнил он Сотникова. — Другие, значит, такая мелочь, что им и отвечать не придется... На всю страну могла бы резолюция прозвучать! А теперь только и жди провала — тыщу обязательств наберем и сядем в калошу...

— Поживем — увидим, — сказал посетитель.

На огромном пространстве развернулась стройка. Разрушенные заводские корпуса были обставлены лесами. В поселке за руинами рос новый город из длинных бараков. Строилась школа. На реке восстанавливали мост. Работой были заняты тысячи людей — каменщики, кровельщики, штукатуры, водители машин, саперы, разнорабочие, в военной и штатской одежде, демобилизованные и приехавшие по вербовке, мужчины, женщины, подростки.

По ночам пылали над поселком электрические солнца: работа не прекращалась.

Почти не было таких, чтоб сидели тогда по кабинетам. И днем и ночью то на одном участке, то на другом появлялась видная фигура Сотникова в генеральской форме и мелькал присматривающийся, вдумчивый Мошкин.

Женщины расчищали цех, заваленный битым кирпичом. Мошкин остановился возле одной из них. Это была та молодая женщина, что советовала Марии молиться, ее звали Фрося. Она заметила пристальный взгляд Мошкина, но продолжала работать с усердным и скромным видом.

— Это о вас говорят, — негромко спросил Мошкин, — что вы у себя в селе насаждали религиозный дурман?

Фрося подумала мгновение.

— То ж при немцах было, — ответила она спокойно. — А при немцах чего не было? Страдал невыносимо народ, ну и пошли в религию, чего ж вы хотите?

— В церковь небось ходила?

— Ходила.

— И других подбивала?

— Не то чтоб подбивала, — еще секунду подумала Фрося, — а просто обсуждали мы между собой, что, возможно, это нас бог наказывает за грехи.

— А теперь не обсуждаете? — строго спросил Мошкин.

— Теперь нет, не обсуждаю.

— Имейте в виду, мы здесь у себя подобной деятельности не допустим.

— Буду иметь в виду, — согласилась Фрося, твердо глядя в глаза Мошкину.

— А вы знаете, кто с вами говорит? — спросил он.

— Ну как же, — сказала Фрося почтительно и даже поклонилась небольшим поклоном. — Председатель завкома товарищ Мошкин.

Мошкину ее ответ понравился.

— Вообще, — сказал он покровительственно, — я вам рекомендую почитать научную литературу. Наука давно доказала, что бога нет, а вы всё обсуждаете.

И проговорив это равнодушным голосом, Мошкин двинулся дальше. Фрося посмотрела ему вслед прозрачными глазами.

В том же цехе работала Мария Плещеева.

Исхудавшая, мрачная, она рассказывала женщинам:

— И никакого просвета. Что ни дальше, то хуже. Связался с этими пьяницами, Макухиным и Ахрамовичем, друг дружку взбадривают. На коленях стою, плачу — не губи нас, — нет! И Ленечка это всё видит. Дождался отца.

Через пролом в крыше огромный ковш крана уносил горы мусора, и светлел цех. Вот всё уже очищено и проломы заделаны, и женщины моют окна, впуская всё больше солнечного света, а голос Марии жалуется, жалуется:

— Уедем, прошу, к моим родным, не могу я больше так мучиться! У меня родные на Алтае, хорошо живут. Так не хочет, — конечно, ему там не будет той воли...

— Христос терпел и нам велел, — сказала Фрося. — Грешим много, по грехам и му́ки.

— Где я нагрешила? — страстно спросила Мария. — Женой была, матерью была, работала, всё исполняла, — чего я нагрешила?.. Лопнет мое терпение, возьму Ленечку и уеду. Ты бы уехала? — спросила она у Полины Прохоровой.

— Не знаю, — сказала Полина. — Как же он без никого?

— Вот вернись твой Алеша и веди себя как мой, — уехала бы?

— Вернись Алеша слепой?..

— Как до дела — он слепой, — сказала Мария, яростно выкручивая тряпку, — а для выпивки — это он зрячий, будь покойна... Уж ты-то в два счета бы уехала, не говори мне... если б тебя капли радости лишили...

Подошла вдова Капустина с листком и карандашом:

— Мария! Твой Леня в какой класс идет?

— В третий, — ответила Мария.

— Зайдешь с ним после работы, — сказала Капустина, делая пометку в списке, — получишь костюмчик и ботинки.

— Да он и сам может получить, — сказала Мария, радостно оживляясь. — Он у меня толковый, куда ни пошли, всё сделает... Костюмчик и ботинки, уж так кстати, вырос изо всего, а ботинки ну совсем развалились.

Костюм был из жесткой темной бумажной материи: блуза вроде гимнастерки и длинные брюки, доставлявшие Лёне особенное удовольствие. Еще и еще раз прикладывал он их к себе: хорош! А лучше всего были ботинки, кожаные, с болтающимися шнурками, и к ним пара сияющих калош.

Все эти обновы лежали на столе в плещеевской хибарке, и Леня с Марией ими любовались.

Новый приятель Плещеева, Макухин, находился тут же. Он протянул руку, взял ботинок, сказал уважительно:

— Вещь.

— А вы положите! — раздраженно и неприязненно одернула Мария. — Непременно вам трогать! — Она ревниво прикрыла лежащее на столе газетой. — И вообще нечего вам тут делать.

— Маруся, — сказал Плещеев, — он ко мне зашел...

— Вот и идите отсюда оба! — забушевала Маруся. — Сил моих нет на твоих гостей смотреть! И так повернуться негде! Идешь домой как на пытку, всё одно и то же, одно и то же...

Плещеев и Макухин вышли из хибарки, присели на лавочку, прилаженную у входа.

— Сердится Маруся, — сказал Плещеев.

Макухин скрутил папиросы ему и себе. Закурили.

— Чего это Ахрамович не едет, — сказал Плещеев.

— Приедет.

— А вдруг он тоже не достанет?

Они сидели плечом к плечу на лавочке и ждали Ахрамовича.

Мария спрятала обновы под сенник на нарах.

— Наденешь, когда в школу пойдешь, — сказала она Лёне.

Она силилась и в этом жилье сохранить крохи уюта. На окошке висела занавеска, сшитая из бинтов, и какой-то стоял цветок в горшке.

Наступил день, когда дети пошли в школу.

Это не было первое сентября. Может быть, это было первое октября, или десятое, или пятнадцатое: в те годы не везде удавалось придерживаться узаконенного расписания. Но так или иначе первый этаж новой школы был отстроен, над входом висел транспарант «Добро пожаловать!», и туда потянулись дети всего поселка. Сотников пришел посмотреть, как они в первый раз входят в новую школу, он был доволен и морщился, чтобы скрыть улыбку.

— Мальчики налево, девочки направо, — говорила молоденькая учительница, стоя в вестибюле.

Среди мальчиков, идущих налево, был Леня Плещеев. Вместе со своими товарищами он переживал оживление и ожидания первого школьного дня. Одет был не в новое, как предполагалось, а в прежние свои одежки с заплатами и старые разбитые ботинки, но радость его не была этим отравлена, — в его возрасте мальчики вообще мало внимания обращают на одежду, а в ту пору, пережив военные лишения, и вовсе не обращали. Смятение в его душе вызывали отец и мать. Он не мог разобраться до конца, что же происходит. Ему было хорошо вдвоем с отцом и вдвоем с матерью, а с обоими вместе — плохо. Обоих было жалко, но отца особенно. Леня стряхивал с себя эту тяжесть, уходя от них. Поэтому в школе, среди сверстников, он был веселый и беззаботный, а дома — серьезный и много старше своих десяти лет.

Делая вид, что спит, слушал он ночью разговор матери с отцом.

— Что же мне делать! Что мне делать! — как в бреду вскидывалась Мария. — Ну за что нам такое с Ленечкой! За что ты ребенка обездолил! Да есть ли сердце у тебя, есть ли у тебя сердце, или всё в тебе фашисты убили?!

А отец плакал, и слезы его были для Лени ужас и мучение.

— Маруся, — говорил отец, — это Макухин сделал, гад, я и не знал! Маруся, да разве бы я мог, если бы знал, откуда эта водка!

— Ничему не верю, ничему! — металась Мария. — Ты не отец, ты не человек после этого, — и что мне делать, что делать?..

— Ну поверь! В последний раз поверь, слышишь? Маруся, как я к тебе рвался, как ждал — вот приеду...

— А я как ждала?

— Никого никогда, кроме тебя...

— Чтоб этого Макухина не было здесь больше!

— Да я его сам видеть не могу!

— И водки этой проклятой — чтоб и не пахло!

— Да я о ней думать не могу после этого!

— Ох, как я хочу тебе верить! — сказала Мария. — Как хочу, ты бы знал! Господи!

Она обессилела и лежала как мертвая, протянув руки вдоль тела.

— Вот ты господа поминаешь, — вспомнился ей Фросин наставительный голос, — а ведь ты его без

всякого соображения поминаешь. Просто от привычки. Это грех. Ты к нему сознательно обратись, лично, чтоб укрепил тебя.

— Отвяжись от меня! — в мыслях отвечала ей Мария нетерпеливо.

— Обратись, Мария, — убеждала Фрося.—Легче тебе будет свой крест нести.

— Не хочу крест нести. Хочу жить разумно, ясно, — отвечала Мария. — Ну хорошо, пусть уж без счастья. Но покоя, покоя хоть капельку — можно?..

В конце месяца Леня Плещеев забежал после уроков в карточное бюро. Перед окошечком, где выдавали продуктовые карточки, стояла очередь.

— Кто последний? — спросил Леня и чинно занял место в хвосте.

— А, Леня Плещеев, — ласково сказала женщина в окошечке, когда очередь дошла до него. Ему пришлось подняться на цыпочки, чтобы расписаться в ведомости.

— Получай: мамины... папины... твои.

Новенькие карточки, все в цифрах и надписях, ложились перед Леней. На одних талонах было напечатано: «Хлеб». На других: «Сахар». «Жиры». «Мясо». Леня бережно сложил карточки и спрятал за пазуху.

Плещеев сидел в хибарке, чистил картошку. Он был трезвый, благодушный, и дело у него получалось ловко. Вбежал Леня.

— А, сынок, здоров.

— Пап, я карточки получил. У нас сбор отряда,

ты отдай маме. Вот. Только спрячь хорошенько. Постой, я сам спрячу.—Леня положил карточки в карман отцовской гимнастерки и заколол булавкой. — Вот так не потеряешь.

— Ты поешь, — сказал Плещеев. — Там картошка в чугунке.

— Потом. Опаздываю... Тебе ничего не надо?

— Ничего. Беги, сынок.

Леня схватил из чугунка на плите картофелину и побежал, откусывая на ходу.

Под вечер того же дня Плещеев, Макухин и Ахрамович выходили из столовой, разговаривая. Они были сильно пьяны и склонны к откровенности.

— А я сам себе главный друг, — говорил Макухин, — потому что я на себя самого положиться могу полностью, а на других, даже на вас, — не полностью.

— Почему же на нас не полностью? — обиженно спрашивал Ахрамович.

— А я на себя не могу положиться, — сказал Плещеев. — Прежде мог, теперь не могу. Э, Гришку бы мне, Гришку!

— Кто такой Гришка? — еще больше обиделся Ахрамович.

— Шалагин. Хороший человек — Гришка Шалагин.

— Чем же он такой хороший? — спросил Макухин.

— Всем хороший, — сказал Плещеев. — Ходит прямо, говорит весело. Дружили мы когда-то: я, он, покойный Прохоров Алеша... В чешуе как жар горя, тридцать три богатыря... Вам не понять!

— Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет! — запел вдруг во всё горло Макухин, и Плещеев с Ахрамовичем подтянули.

Они проходили мимо школы. Распахнулась дверь, послышалась барабанная дробь, на улицу высыпали пионеры. Среди них был Леня. Он выбежал радостный и остановился, увидев отца, которого Ахрамович вел под руку.

— Всё гуляют, — вздохнув, как взрослый, сказал Павка Капустин.

А Леня испугался. Его испугала страшная догадка. Хотел броситься за отцом, окликнуть, — но стыдно было перед ребятами. Он медленно пошел домой.

Мать уже пришла. Она рылась в постели на нарах. Подушки и всё тряпье были разбросаны, и руки ее двигались судорожно торопливо, как тогда, когда она искала на пепелище ящик с инструментами.

— Ты где до ночи ходишь? — напустилась она на Леню. И, не дожидаясь ответа: — Ты где дел карточки? — Он молчал. — Не получил?

— Получил.

— Так давай сюда. У тебя они?

Он стоял, не зная, что сказать.

— Леня! Где карточки?

— Я их положил куда-то, — сказал он.

— Куда?

— Я не помню.

Он отвернулся, чтобы не видеть ее глаз.

— Потерял?..—спросила она шепотом. И села,— не держали ноги. Пот выступил каплями на лице.

— Без хлеба, — шептала она, — без ничего... целый месяц... — И вдруг громко: — Ничего ты не потерял, Ленечка. Неправда. Это опять злодей этот...

Пьяные голоса донеслись с улицы. Мария замолчала.

— А ты ее поставь на место, — говорил Макухин. — Чего она тебе, на самом деле, повернуться не дает!

— Да ну, боялся я ее! — отвечал Плещеев. — Пусть только попробует скандалить!

— Небось, когда ты ее в шляпах водил, она шелковая была, — подначивал Макухин.

— Пусть только!.. — хорохорился Плещеев.

— Ты всё-таки не очень, — жалостно сказал Ахрамович. — Я считаю — женщин мы жалеть должны и оберегать.

— Во-первых, — сказал Макухин, — там и твои были карточки. Государство тебе их выдало.

— Вот именно! — повысил голос Плещеев. — Мои кровные, начнем с этого...

Он толкнул дверь и ввалился в хибарку. Макухин и Ахрамович заглянули через его плечо и исчезли.

— Две мои были, верно? — спросил Плещеев. — Как хочу, так и распоряжаюсь.

— Дверь закрой, — безжизненно сказала Мария. — Выстудишь избу.

Леня закрыл дверь.

— Значит, так, — продолжал Плещеев,—человек всё отдал — это хорошо, да, хорошо... А взять чего-нибудь для себя, — моментально глаза колоть... Коли́, на́, коли́ сколько хочешь, всё равно ничего не видят. Видели когда-то.

— Ложись, — сказала Мария.

— Захочу — лягу, — сказал Плещеев, — а не захочу — не лягу. И ничего такого страшного нет. Скажешь там, что потеряла, — не могла потерять, что ли? Придумают, помогут... У нас не капиталистические джунгли, где человек человеку волк. У нас все за одного...

Он повалился на нары.

— И один за всех, — заключил он и всхрапнул. Мария и Леня сидели молча.

Они ехали в поезде дальнего следования.

С верхней полки Леня смотрел в окно. Плыл за окном снежный лес.

Снизу доносился до Лени голос матери, разговаривавшей с пассажирами.

— Вы поймите меня правильно, — говорила Мария. — Разве я от трудностей уезжаю? Сын не даст мне соврать: на какую хотите тяжелую работу — я первая. Я на трудности, как на дзот, грудью кидалась! Но с пьющим человеком существовать немыслимо, и тем более чтоб у вас на глазах страдал ребенок.

Настал вечер, в вагоне зажегся слабый свет. Леня всё лежал на полке, глаза его блестели в полумраке. Внизу говорила мать:

— Ну что ж, у него пенсия, проживет. Если, конечно, не будет пропивать.

— Кроме пенсии уход требуется, — сказала старая женщина в очках.

— Вот пусть его приятели за ним и ухаживают,

на которых он нас променял, — возразила Мария. — А моих сил нет больше этот воз везти. Должно же и мне что-то от жизни быть, господи!..

Но вот стихли разговоры. Вагон уснул. Леня привстал, — рядом с ним, с краю, спала мать, подложив узелок под голову. Леня стал слезать с полки. Мария шевельнулась, спросила:

— Ты что?

— Я сейчас, — пробормотал он. И она опять уснула и не видела, как он взял свое пальтишко и шапку и оделся. Углем из ведра, что стояло в тамбуре, он написал на мешке, лежавшем возле матери: «Я ушол к папе»; подумал и переделал «о» на «е». Кругом спали люди, и даже во сне лица у них были серьезные, напряженные, словно и сны их так же трудны были, как явь.

Мела метель. Поезд стоял на большой станции. Шла посадка. У входа в вагон скучились люди, мешки, чемоданы; проводница проверяла билеты. Леня соскользнул с площадки — никто не окликнул, — и метель его скрыла.

Он остановился, посмотрел, как прошел мимо него, светя огнями, тронувшийся поезд, который вез его к какой-то более легкой, вероятно, жизни и из которого он сбежал.

На пустоватом ночном вокзале он познакомился с компанией мальчишек постарше, чем он, в ватниках и стеганых штанах. Они отвели его в комнату, куда пассажирам вход воспрещен, и напоили кипятком.

— А хлеба, брат, нет, — сказал тот, что наливал ему кипяток из кипятильника. — Чего нет, того нет.

Леня пил, обжигая губы о жестяную кружку.

— А вы кто? — спросил он.

— А мы тут работаем, — ответили они с важностью. — Мы — железнодорожники.

Самый старший сказал:

— Тебе надо ехать местными поездами, с пересадками. Вот мы тебя утром посадим, до Грязнова доедешь, слезешь. А там опять на местный поезд садись — и дальше.

— Только к дядькам не обращайся, — сказал самый младший. — И особенно к теткам. К ребятам обращайся, если что надо спросить. А то сцапать могут.

Ночь прошла. Солнце светило в вагонное окно. Далеко позади остался родной поселок.

Мария сидела, закрыв лицо. Вздрагивал от толчков поезда мешок с надписью: «Я ушел к папе».

— Возвращаться вам придется, — сказала старушка в очках.

— Нет! — крикнула Мария, затрясла головой, открыла измученное лицо. — Вернусь — больше не вырвусь до смерти, так и пропадет жизнь! Одумается, заскучает, прибежит небось к маме, сыночек мой, Ленечка...

— Ничего, Леонид, — говорил Макухин, поддерживая Плещеева. — Будь мужчиной.

Они брели по поселку, направляясь к плещеевской хибарке.

— Она подлая! — говорил Плещеев. — Она мразь!

— Подлая, а ты будь мужчиной. Тут канавка, Леонид.

— Всё ясно! — говорил Плещеев. — Конечно, со зрячими лучше жить, чем со слепыми. Распутничать легче, чем за инвалидом ухаживать... Чего уж тут! Ясно всё!

— Тут бугорочек, Леонид.

— Но сына отнять у отца! Это что ж такое делается, я тебя спрашиваю! Кто ближе сыну, чем отец?! Я спрашиваю!

Плещеев спрашивал уже в одиночестве. Макухин ушел, доведя его до порога.

Дверь была не заперта. Плещеев поднял щеколду и вошел в хибарку.

— Спрашивай не спрашивай, — сказал он, ощупью вешая шапку на гвоздь, — отвечать некому. — Он замолк, постоял вслушиваясь, крикнул: — Кто здесь?

Голос Лени ответил:

— Я.

— Сынок! — сказал Плещеев и протянул руки.

Леня подошел к нему, взял за руку, прижался... Плещеев жадно ощупывал и гладил его плечи и голову:

— Вернулись! Милые вы мои!.. А мама где?

— В Барнаул поехала, — тихо и не сразу ответил Леня.

— Как! Без тебя?

— Я вылез потихоньку. Пап, я местными поездами обратно ехал, с пересадками.

Плещеев притиснул его к себе:

— Сынок! Сынок!
— Я не хочу уезжать. Я с тобой буду.
— С кем она поехала? — громко и грозно спросил Плещеев.
— Ни с кем. Сама.
— Правду говори!
— Я — правду, — недоуменно сказал Леня.
— Без меня, без тебя, — сказал Плещеев, — совсем, значит, мы ей не нужны? Отрезала начисто?
Он сел и закрылся руками.
А Леня стоял, взгляд его шарил по комнате и не находил того, что искал. Наконец, догадавшись, Леня достал с полки старый треснувший глиняный горшок, накрытый дощечкой, и заглянул в него. В горшке лежал кусок хлеба.
— Пап, можно, я хлеба возьму?
Плещеев не ответил — не слышал. Леня отломил хлеба и стал есть.
Плещеев поднял злое, несчастное лицо.
— С кем она поехала, мерзавка, дрянь? Говори, ну?! С кем она, гадина?..
Леня заплакал.

Пригородный поезд дачного типа, весь обшарпанный и переполненный, полз медленно. На одной из остановок в вагон вошли Плещеевы, отец и сын. Опустив по швам руки — в одной была старая пилотка, — слепой запел «Землянку»:

Бьется в тесной печурке огонь...

Вагон слушал молча, понимающе и строго.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой...

Он пошел по вагону, и со всех сторон к его пилотке потянулись руки с бумажными купюрами и мелкой монетой.
Когда он прошел, один гражданин сказал:
— Шел бы, милый друг, хоть что-нибудь работать, чем попрошайничать.
— Позвольте, — возразил другой, — вы же сами, я видел, положили ему пятерку.
— Ну да, — смутился первый, — но это неправильно. Ему указать надо, а мы, дураки, потворствуем.
— Дураки?! — вскинулась пожилая женщина.— Молчите лучше! А то я вам укажу, — век не забудете!
Гражданин посмотрел на ее лицо в морщинах, мужские руки, разъяренные глаза, — отвернулся молча.
А Плещеев пел уже в соседнем вагоне:

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови...

— Потрудились, — сказал он Лёне, выйдя в тамбур, — на сегодня хватит.
— Пошли домой, — сказал Леня. — Не надо за водкой.
— Сынок, — сказал Плещеев, — ты книжку можешь почитать, верно? Вечером в кино убежишь, верно? А мне что? Умирать? А?

Леня зажмурил глаза, чтобы представить себя слепым, и мрак обступил его. Во мраке стучали колеса... И Леня, как всегда, пожалел отца и не стал уговаривать.

Потом в хибарке, где было теперь мусорно и темно — стекло в окне разбито и заклеено газетой,— Плещеев пил водку и говорил:

— Всё-таки по ее не вышло. Хитро придумала, а не вышло по ее: ты не с ней, а со мной, с отцом.

Леня растапливал печку. Отсветы огня дрожали на его худеньком грязном лице. В дверях стояла женская делегация с вдовой Капустиной во главе.

— Выше отца, — говорил Плещеев, — нет ничего. Никто отца заменить не может. Особенно сыну.

— Леонид, здравствуй, — сказала вдова.—Это я, Капустина. Мы к тебе по поручению общественности.

— Чего еще от меня надо общественности? — спросил Плещеев.

— Глаза бы мои на тебя не смотрели, — сказала Капустина.

— А мои на тебя давно не смотрят. Дальше?

Другая женщина втихомолку достала из сумки бутылку молока и судок и поставила на табуретку возле печки.

— Поешь, — сказала она Лёне.

— Леонид, — сказала Капустина Плещееву, — мы с тобой детьми по поселку бóсые бегали.

— Ты на мое место себя поставь, — сказал Плещеев надменно, — и тогда ты со мной говори.

— Что уж нам местами считаться, — сказала Капустина. — Мы вот тебя на свое место не приглашаем. А тоже, уж ты поверь!.. Сколько нас тут — все слезами плачем. Моего-то — в первый же месяц не стало... Возьми ты себя в руки, просим тебя. Имей рабочую гордость.

— Свяжите меня, — сказал Плещеев,—положите меня в угол, как полено, чтоб не портил вам вид, этого вам надо?

— Ну как с ним разговаривать? — обратилась Капустина к женщинам.

— Нам надо, — сказала третья женщина, смертно худая и беспощадная, — чтоб вы себя вели как нормальный советский человек. И чтобы ваш мальчик регулярно посещал школу, как всякий нормальный советский ребенок.

— Времени у него мало посещать,—сказал Плещеев. — Мать его меня бросила, приходится ему отдуваться. Она меня бросила на произвол судьбы!

— Марию общественность осуждает, — сказала Капустина. — Она должна была за тебя бороться, и не бросать. Это если каждая так всё кинет да улетит, — это что же получится?

И женщины посмотрели в сторону и вверх, как бы прикидывая, что получится, если они всё кинут и улетят.

— Мы решили вот что, — продолжала Капустина. — Устанавливаем дежурства. Коллективно будем за вами присматривать. В отношении питания, уборки, стирки и так далее. Чтобы жили вы как люди. Так мы постановили.

— Но, конечно, — сказала беспощадная, — чтоб вы свое поведение в корне бросили. Иначе никто не вынесет.

— Леня! — крикнул Плещеев, шаря руками. — Где бутылка? Леня!

— Да на столе, — сказал Леня, — перед тобой.

Плещеев нашел бутылку, хлебнул прямо из горлышка.

— Хорошо! — сказал он. — Сынок, слышишь, как жить будем, — уборка и так далее. Нянечки за нами присмотрят, чтоб мы... всё как люди. Сейчас мы не люди, нет... Нянечки добрые веником помахают, и мы станем как люди. И сейчас же они нас на поводок — раз, и всё... А идите вы с уборкой знаете куда!.. Идите, идите! Будьте здоровы! Афидерзейн!

Он встал и взмахнул бутылкой, так что женщины шарахнулись. Капустина схватила его за локти:

— Да ты что, да ты постой!

Но он кричал:

— Будьте здоровы, живите богато! Афидерзейн! — и замахивался бутылкой, как гранатой.

— Ну, стыд! Ну, стыд! — убивалась Капустина. — Мы к тебе со всей душой...

— Придется говорить в другом месте, — сказала беспощадная, выходя.

Все стали выходить гуськом. Та, что принесла еду, тихонько сказала Лёне:

— Соберешь что постирать и принесешь. Отцу не говори.

— А жену мою судить не смейте, — кричал Плещеев, — вы ей не судьи, ей только я судья, ничего вы не знаете!

Леня тронул его и сказал:

— Пап, а пап. Никого нет уже...

Кончилась война, и вернулся Григорий Шалагин.

Неся через плечо свой солдатский багаж, шел он по поселку.

За развалинами жилых домов виднелись крыши новых бараков. Часть заводских строений еще стояла в лесах; но другие были восстановлены и имели хороший вид, и по легкому дымку из труб, по освещенным окнам было видно: многие цеха вступили в строй.

Навстречу показалась пожилая женщина с полными воды ведрами на коромысле — Ульяна Прохорова, мать Алексея.

— Здравствуйте, Ульяна Федоровна, — сказал Шалагин.

— Да не может быть! — сказала Ульяна, у нее дыхание перехватило. — Гриша! Ты чего приехал?!

— Жить, — сказал Шалагин.

Жестокая боль воспоминания проступила в ее лице, но она не стала жаловаться, сказала, бодрясь:

— Нашел куда ехать жить. Держал бы курс где получше.

— Именно туда и держим, где получше, — сказал Шалагин.

— Ну пойдем, — сказала Ульяна.

Прохоровы жили в землянке. Она была построена хорошо, добротно.

— Узнаю аккуратность вашу, Ульяна Федоровна, — сказал одобрительно Шалагин.

— Что́ б ни было, — сказала Ульяна, — порядок должен быть. На дереве, как птицам, жить случится — и на дереве надо соблюдать порядок.

В землянке стало светло, когда она зажгла керо-

синовую лампу. Осветился выскобленный добела стол, опрятно застеленные нары, посуда на полке. Стекло на лампе было чистое, как слеза.

— Снимай шинель, умывайся, отдыхай, — сказала Ульяна. — Сейчас хозяин придет, ужинать будем.

Над столом висела фотография Алексея с Полиной.

— И когда это?.. — спросил Шалагин, глядя на портрет.

— Давно. Когда из-под Киева немца гнали.

— А невестка с вами?

— Невестка с нами, — безрадостно ответила Ульяна и переменила разговор. — А ты совсем целый? А в госпитале чего лежал?

— В семи госпиталях я лежал, — отвечал Шалагин. — Семь раз в меня всаживали — то осколки, то пули.

— Семь раз! — повторила Ульяна.

— Угу. Семь раз.

— И ничего!

— Да ничего, — слегка виновато сказал Шалагин. — Заштопали.

Пришел с работы старик Прохоров. Обнял Шалагина.

— С возвращением, Гриша, — сказал тихо.

Отвернулся, чтобы скрыть выступившие слезы, и пошел в угол к умывальнику, снимая спецовку.

— Где жить думаешь? — спросил он, умываясь. — С жильем плохо. Бараки переполнены. Пока, конечно, ночуй у нас...

— У мамы в Подборовье дом был, — сказал Шалагин. — Съезжу, посмотрю — цел ли.

— Хороший был дом, — рассказывал он за ужином. — Сюда бы его перевезти. Хватило бы на несколько семейств. Проще, чем новый ставить.

— Только слушай меня, — сказал Прохоров, — становись-ка ты на работу сразу, приживляйся к делу. Без работы портится человек. Поглядишь, что с Плещеевым сделалось. Ты знаешь, что он слепой вернулся?

— Писали мне...

— С ним, сам понимаешь, тяжелый разговор. На завком его вызывают. Не перенес Плещеев своего несчастья...

Перед сном Шалагин вышел на воздух покурить. Было тихо, лунно. Спал поселок, только очень издалека доносился еле внятный шум — пение, взвизги, вскрики гармони, женский разудалый раскатистый, ведьмовский смех — «ах-ха-ха!». Гуляли где-то. С разных сторон на шум тревожно откликались собаки...

Шалагин вернулся, лег на лавке, где постелила ему Ульяна. Фитиль на лампе был спущен. Старики Прохоровы спали или притворялись спящими. Шалагин лежал, думал... Среди ночи скрипнула дверь, вошла Полина. Сбросила с головы на плечи душный платок, жадно выпила ковш воды.

— Явилась-таки, полуночница, — проворчала не поднимаясь Ульяна. — Ишь, разит, как из пивной.

— Терпение, мамаша, — сказала Полина громким нетвердым голосом. — Зинченко вернулся, отметили.

— Каждую ночь повадилась отмечать. Уже не только женщины — мужчины говорят...

— Ха, мужчины! — сказала Полина. — Где вы, мамаша, мужчин нашли? Остатки одни, инвалидная команда. Труб печных больше, чем мужчин.

— Цыц, женщины! — сказал Прохоров. — Люди спят.

Полина увидела лежащего на лавке. Отчаянным движением вывернула ламповый фитиль так, что копоть заплясала в стекле и вскрикнула Ульяна, — склонилась в неистовой безумной надежде, — распрямилась, медленно спустила фитиль... На табуретке лежала гимнастерка Шалагина. Полина взяла ее, сосчитала нашивки: семь нашивок — семь ранений. Затряслась от неслышных рыданий, уткнув лицо в чужую гимнастерку.

Дом в Подборовье, полученный Шалагиным в наследство от матери, в самом деле был хорош, хоть и обветшал за войну, — просторный, добротный, с мезонином и стеклянной верандой.

Шалагин подходил к нему вместе с председателем сельсовета. Председатель говорил:

— Ты, конечно, владелец. Твое законное имущество. Не взыщи за самоуправство. Суди сам: от войны бежали, всё потеряли, — куда их девать? А твой дом пустой стоял.

Из трубы шел дым. Во дворе женщина развешивала белье. Детишки с криком играли в снежки. Стекла веранды были оклеены изнутри старыми газетами, по заголовкам и фотографиям можно было прочитать всю историю Великой Отечественной войны.

С веранды выглянула встрепанная старуха с папиросой во рту и чадящей сковородкой в руке. Она свирепо глядела на Шалагина. Он спросил:

— И много вас тут?

— Много, — ответила старуха. — Как сельдей в бочке. А ты комнату ищешь?

— Что мне комната! — сказал Шалагин. — Мне нужен дворец, и с принцессой в придачу.

— Принцесс хватает, — сказала старуха, — а вот дворца нету.

— Да ты зайди посмотри, — сказал Шалагину председатель. — Ты владелец, твое право, в чем дело? Постучись и зайди.

Шалагин взошел на крыльцо, стукнул, услышал крики в ответ: «Да! Входи!» — и пошел из комнаты в комнату, а председатель осторожно держался за его спиной.

И правда, дом был полон жильцов.

Молодых принцесс не было видно: они на работе были в этот час. Но старух — хоть пруд пруди.

Там стряпали, толпясь у плиты. Там учили ребенка ходить и приговаривали над ним:

— Иди, иди. Ножками, ножками. Вот как наш Юрочка ножками ходит!

Сапожничал инвалид с одной ногой, сидя на полу и разложив вокруг себя свой товар. Спросил у вошедшего Шалагина:

— Огонь есть? — И Шалагин дал ему прикурить.

Заходился кашлем полуживой старик, глядя на Шалагина выкаченными глазами, и видно было, что ему уж ничего не поможет, кроме смерти.

— Мда, — сказал Шалагин, выйдя на воздух.

— Твое право, Григорий Ильич, — повторил председатель. — По суду всех их можешь выселить.

— Ну да, — сказал Шалагин. — Что я, больной — судиться? Пока с ними со всеми пересужусь, — так и жизнь пройдет.

Вдруг дворовый пес, вихрем пронесясь через двор, кинулся к нему.

Положив лапы ему на грудь, дрожа от восторга, лез целоваться.

— Жук! — сказал Шалагин, гладя его. — Жучок, Жучок, хорошая псина, узнал меня! — Он обратился к председателю: — Вот та́к давай, председатель. Домом пользуйтесь, пока что, а мне лесу выпиши взамен, строиться буду.

— Сделаем, — сказал председатель. — Только на корню бери лес, заготовленного нет у меня.

— Ладно, что поделаешь, — сказал Шалагин. — Ну, Жук, пошли!

И зашагал прочь от своего дома, а счастливый Жук бежал возле его ноги.

Мошкин держал речь:

— Товарищи, в этом вопросе мы обязаны быть принципиальными и непримиримыми до конца! Тут, товарищи, всякое проявление либерализма — преступление! Мы не можем терпеть личностей, потерявших облик! Каленым железом будем их выжигать из своей среды!

Речь Мошкина была направлена против Макухина, Ахрамовича и Плещеева, которые сидели рядышком на стульях у стены. Посреди комнаты за столом заседали завкомовцы.

— Наш облик вас не касается, — сказал Макухин, обидясь. — Какой есть.

— Ты скажи, где ты кровельное железо взял? — обратился к нему один из членов завкома. — Это раз. Как вас угораздило стекла побить, это два. Шутка сказать, по зимнему времени, стекла́ днем с огнем не найдешь, — и нате, окна перебить... Ну, почему обязаны люди такое терпеть через вас?

— И кто его знает, как оно вышло, действительно, — вздыхая, виновато сказал Ахрамович.

— Но про облик он не имеет права, — настаивал Макухин. — Облик сюда не относится. Не крал я железа, слева купил.

— Значит — краденое купил, — сказал кто-то.

— Да уж накладных не спрашивал, — огрызнулся Макухин. — Не брильянты покупал, крышу купил, крышу над головой, для детей, понятно?

— А получку пропиваешь — это тоже об детях заботишься? — спросила Капустина.

Ахрамович, вздыхая, сказал примирительно:

— Знаете ведь — работаем всегда, а пьем иногда.

— Наоборот скажи, — возразила Капустина. — Пьете всегда, а работаете иногда. Так вернее будет.

— Лично я, — сказал Плещеев, — ничего слева не купил и не тянул ничего, и пью на свои заработанные, и чего вы меня сюда привели, спрашивается?

— Леонид, Леонид! — сказала Капустина. — На свои ли?

— Я вашего суда не признаю́, — сказал Плещеев. — Я за вас жертвы принес, а не вы за меня.

И на эти заносчивые слова в комнату вошел Шалагин.

— Постойте, товарищ Плещеев, — равнодушно сказал Мошкин. — По порядку давайте. Закончим с Макухиным. Значит, так, товарищи, запишем: просить прокуратуру разобраться, откуда у гражданина Макухина кровельное железо...

— Минуточку, товарищ Мошкин, — сказал Сотников, стоявший с папиросой у приоткрытой двери. — Погодите с прокуратурой. Товарищи, не хочу я Макухина и Ахрамовича под суд отдавать! Не нужно мне сажать их на скамью подсудимых, они заводу нужны! Их уменье нам нужно, — что мы, не знаем, какие это работники, когда они трезвые?.. А Плещеева мы разве не помним как замечательного слесаря? И разве исключено, что товарищ Плещеев вернется на завод?

— Конечно, сейчас! — сказал Плещеев.

— Я убежден, что он сможет вернуться, — продолжал Сотников, — если захочет. Если захочет. Так что, давайте, друзья, без прокуратуры. Берите себя в руки, кончайте с этой нечистью, и будем сообща делать то, чего от нас народ ждет.

Капустина сказала задумчиво:

— Верно, пора, товарищи, кончать. Никто, только мы сами можем навести порядок и на заводе, и в поселке, и везде. Давайте браться, товарищи.

Пьяницы вышли из комнаты. Придерживаясь за спину Ахрамовича, последним шел Плещеев. Шалагин остановил его:

— Леонид.

— Кто это? — в раздражении сердито спросил Плещеев.

— Шалагин. Не узнаёшь по голосу?

— Гриша! — сказал Плещеев. — Ты здесь! А я — вот видишь...

Лицо у него задрожало. Он нетерпеливо оттолкнул Ахрамовича:

— Вы идите! Идите без меня! Я с Гришей!

Макухин и Ахрамович ушли, оглядываясь. Шалагин обнял Плещеева за плечи и повел.

Сотников и Мошкин вместе вышли после заседания.

— Слабо провели, — сказал Мошкин. — Никаких, в сущности, выводов.

— Всё вам выводов хочется, — сказал Сотников. — Иногда мудрее оставить вопрос открытым.

— Не понимаю вас. Вы бы проще выражались, по-нашему, по-рабочему.

Сотников усмехнулся:

— Оставьте, Мошкин, демагогию.

Мошкин покосился на него. Очень отличались они друг от друга: большой, сильный, подтянутый директор с умным лицом, выражающим энергию, юмор и жизнелюбие, и щупленький Мошкин с впалой грудью, недоверчиво настороженный, в мешковатом кителе.

— Насквозь я тебя вижу, — сказал Мошкин, переходя вдруг на «ты». — Мало тебе власти, хочешь любви широких масс? Доморощенный вождь мест-

него значения? Я в эти игры не играю. Каждый обязан долг свой сполнять, а нет — заставим. Сказано не пей — не смей пить. Сказано работать — иди работай. Твоими методами людей не воспитаешь. И нет твоим заигрываниям и утопиям от меня поддержки. И не жди. Тебе налево, мне направо.

— Верно, — сказал Сотников. — Вам туда, мне сюда. Но не забывайте — работать-то нам вместе.

— Не пугай, — сказал Мошкин. — Под меня не подкопаешься.

Шалагин и Плещеев сидели в столовой за столиком.

— Сейчас принесут нам кашу и омлет, — сказал Шалагин, — и будет нам хорошо. Продолжай, рассказывай: как дальше жить думаешь?

— А что продолжать? — надрывно спросил Плещеев. — Какое у меня может быть дальше?

— Как же?.. — спросил Шалагин. — Как вообще жить, если нет «дальше»?

— И не надо бы, — сказал Плещеев. — Ради Лени живу, ради сына — только!

— И хорошо получается?

— Значит, хорошо, если от матери ко мне прибежал! — огрызнулся Плещеев. Помолчав, сказал угрюмо: — А чтó я должен делать? Живу как могу.

— Мог бы иначе, — сказал Шалагин.

— Это работать?

— А ты пробовал?

— И пробовать нечего. Вот! — Плещеев вытянул пальцы, они дрожали.

— Так, — сказал Шалагин. — Еще не до того себя можно довести умеючи.

Им подали еду.

— Одну неделю походишь трезвый, — сказал Шалагин, — трястись перестанут. Самому небось тошно с протянутой рукой ходить.

— Я не хожу с протянутой рукой! Я артист!

— Брось, какие мы с тобой артисты. Что песенки умеем петь? Это все умеют. Ты что не ешь?

— Водочки, — сказал Плещеев. — Глоточек.

— Тут нельзя. Плакат висит.

— Плакат!.. Позови официантку. У нее такой чайничек есть.

Официантка, стоя у буфета, на них уже поглядывала в ожидании.

Шалагин пристально посмотрел на Плещеева:

— Вот, ей-богу! Ну... — Он обратился к официантке: — *Принесите... это самое... из чайничка.*

— Один момент, — виолончельным голосом сказала официантка.

— Письма есть от Марии? — спросил Шалагин, понизив голос.

— Была телеграмма. Про Леню запрашивала. Я ей написал, что он у меня. Посылку присылала...

— И всё?

— Пишет иногда. Леня отвечает...

Официантка поставила перед ними два стакана в подстаканниках.

— Ну — за твое здоровье, — сказал Шалагин.

— За твое! — сказал Плещеев. Выпил и пригорюнился. — Эх, Гриша, помнишь, как ты про нас

говорил: в чешуе как жар горя, тридцать три богатыря... Вот тебе и тридцать три богатыря! Алеши нет, и я не жилец уже...

— Ты брось этим козырять, что ты не жилец, — сказал Шалагин. — Не очень-то жизнью швыряйся, рассердится. Я заметил: когда человек от нее отворачивается — она от него тоже. Она, брат, тех любит, кто на нее наседает... Насчет сына, — продолжал он. — Ведь это он для тебя живет, а не ты для него. И вечно это, конечно, продолжаться не может. Сейчас он с тобой нянчится, а скоро — увидишь — покрикивать начнет.

— Не посмеет! — сказал Плещеев.

— Вырастет — посмеет. И будет тебе тогда, Леня, кисло.

— Мне и сейчас не сладко!

— Тем более, — сказал Шалагин. — Надо, значит, стать на такую позицию, чтоб он тебя уважал. А попробуй на завод. Что-нибудь подходящее подберем, а?

Плещеев оттолкнул тарелку:

— По-вашему, человек пострадал в бою — этого мало, чтоб его уважать...

— Ты б, брат, видел, на что ты похож, — тихо сказал Шалагин.

— Имею право на уважение, — ожесточенно твердил свое Плещеев, — даже если не буду работать в социалистической промышленности! А что я одет неважно...

— Только ли что одет неважно! Давай-ка, знаешь, не о социализме и коммунизме, а о том, какой ты вид имеешь. Совсем молодой еще...

— Ну, где там! — возразил Плещеев, не без кокетства впрочем.

— ...а на старика смахиваешь. Сколько дней не брился?.. Ты всё на высокие материи сворачиваешь, а знаешь, что от тебя разит, да, разит?! Перегаром, болезнью... от молодого, сильного, — да, сильного, не морочь мне голову! Ты воображаешь, Мария от разбитого сердца сбежала? От отвращения!

— Ну да! — ужаснулся и не поверил Плещеев.

— От духа твоего чумного! Попробуй подыши. Я бы сбежал! Да сын подрастет, — он же тебя стыдиться будет, а что́ ты думал? Разве что и его погубишь — приучишь... Не ради социалистической промышленности приглашают тебя работать, а тебе, дура божья, надо из болота ноги вытянуть, чтоб не захлебнулся в собственной дряни!

— Слушай, — спросил Плещеев не очень решительно, — а какое ты имеешь право меня оскорблять?

— Я тебе правду говорю, — ответил Шалагин, — а не оскорбляю. Ты себя не видишь — я вижу и обязан сказать. А то он страдалец, понимаешь, он артист!.. Одним словом — кончай перекур, выходи строиться!

Последнюю фразу он сказал громко, так что многие оглянулись; но, встретив веселые, дружелюбные шалагинские глаза, не рассердились, даже заулыбались. Улыбнулся с подобострастием и парень пропитого, запущенного, даже антиобщественного вида, явно подбиравшийся к стакану, из которого Шалагин только отхлебнул. Однако Шалагин, приметив манипуляции парня, бросил на него такой

взгляд через плечо, что тот поскорей отчалил подальше, а подумав — счел за лучшее и вовсе убраться из столовой.

Резко разносился звук пилы в зимнем лесу... Шалагин сложил вместе очищенные от сучьев стволы, рядом — сучья. Управлялся с трудом — в работе ранил левую руку, рана кровоточила. Он обмотал руку платком, зубами затянул узелок.

Поздно вечером он вернулся в поселок и пошел к новому, в три окошка, домику, где на двери под лампочкой была вывеска: «Поликлиника». Крайнее окошко, с белой тюлевой занавеской, молочно светилось. Шалагин заглянул: фельдшерица Тоня сидела у стола, читала книгу, плакала и сморкалась в платочек. Шалагин постучал — она повернулась к окну своим заплаканным, добрым, бесцветным лицом...

В маленькой перевязочной, надев белый халат и косынку, Тоня привычными движениями перевязывала Шалагину руку, а он говорил:

— То ли руки работу забыли, то ли на фронте недополучил, что мне причиталось...

Она ответила рассеянно, мысли ее были в книге:

— Да, вы сильно себя хватили.

Уронила пинцет и нагнулась поднять, и Шалагин нагнулся — их головы сблизились, она увидела, что перед нею не просто пациент, а молодой привлекательный мужчина, что это его рука в ее руке, — и Тоня смутилась.

И Шалагин понял ее смущение, потому что сам

почувствовал себя неловко, когда они столкнулись головами. Они были вдвоем в маленькой поликлинике, кроме них ни души. Он сказал мягко, маскируя неловкость:

— А вы хорошее что-то читали, я видел.

— «Войну и мир» Льва Толстого, — с пугливой готовностью ответила Тоня. — Я как раз читала, как один тоже раненый умер. Князь Андрей Болконский. Очень умный был человек, так жалко. В те времена еще не было пенициллина, а то бы спасли.

— Я тоже люблю книгу почитать, — сказал Шалагин. — Когда время есть. В госпитале много читал. — Перевязка была окончена. — Спасибо!

— Постойте! — окликнула она. — Надо заполнить карточку. Фамилия, имя, отчество?

— Шалагин Григорий Ильич.

— Шалагин Григорий Ильич, — повторила Тоня. Она писала медленно, ей хотелось, чтобы он побыл тут подольше, а удержать не умела. — Год рождения?..

Еще раз окликнула, уже с порога:

— Григорий Ильич! — Шалагин остановился. — Я вам не туго перевязала?

— В самый раз! Очень благодарен! Всего вам хорошего!

Тоня постояла на пороге. Сколько мужчин вот так уходило, приняв от нее помощь и сказав «спасибо» — а то и не сказав. И ни один никогда не оглянулся. И она увядала...

Не оглянулся и Шалагин. Растаял в темноте...

Сотников сидел в гостях у Прохоровых в землянке. Ульяна хлопотала, подавая угощение.

— Нет, — говорил старик Прохоров. — Не трогайте меня с моего места. Не гожусь в начальники, никогда к этому вкуса не имел. Привык к машинному отделению, полжизни в нем прошло.

— Так расти же надо, Дмитрий Иванович, — шутливо уговаривал Сотников.

— Честолюбия, думаете, не имею? — улыбнулся Прохоров. — Имею. Где-то я читал: в средние века в Шартре — это во Франции, кажется, — строился замечательный собор. И вот идет человек и встречает на дороге трех строителей. Каждый тачку толкал с камнями. Прохожий у них спрашивает, у каждого: «Ты что делаешь?» Один отвечает: «Тачку тяжелую тащу, пропади она пропадом». Второй отвечает: «Зарабатываю на хлеб семейству». А третий пот с лица вытер и гордо так сказал: «Я строю Шартрский собор!» Вот какая есть очень старинная притча...

На ступеньках показались статные, аккуратно ступающие ноги — пришла Фрося.

— Извините, если некстати, — сказала она учтиво. — Приятно кушать. Ульяна Федоровна, я вам грибочков принесла, мне из деревни прислали. — И достала из кошелки низку сушеных грибов.

— Спасибо, Фрося, — сказала Ульяна. — Садись, пирога отрежу. — Она усадила Фросю за кухонный столик в уголку, отдельно от мужчин. — Дай бог здоровья.

За столом у мужчин продолжался разговор.

— Народ к нам идет хороший, — говорил Сотников. — Крепкий.

— Всякий попадается.

— В основном хороший. Знаете, Дмитрий Иваныч, кажется мне, что фронтовики принесли с собой из окопов очень что-то важное. Большую правду, я бы сказал.

— Кто принес, а кто, наоборот, разбаловался.

— Неважно, — сказал Сотников. — Решают не те, кто разбаловался, а те, кто правду несет! Обязательно должно свежим ветром повеять! Народ какую победу выиграл, братья-то и сестры?... — Сотников понизил голос. — Помните, как по радио обращался: «братья и сестры» — когда немец нас бить пошел... Как графин-то об стакан звенел, — воду, значит, пил в волнении, — помните?.. И с кадрами теперь придется советоваться, нельзя игнорировать кадры, не выйдет...

К столу подошла Ульяна.

— А в собственном особнячке, землячки́, хватит вам жить, — сказал Сотников, меняя разговор. — Вот достроим наш пятиэтажный, перебирайтесь-ка.

— Мы не спешим, — за Ульяну ответил Прохоров. — У нас детей и внуков нет.

— Детей, да... Я вот наконец-то семью выписываю.

— Ну слава богу. Что ж всё в разлуке.

— Соскучился жить бобылем. Хочу сам воспитывать сыновей.

— Хорошее дело, — сказал Прохоров.

На портрете Алексей словно слушал разговор. А с другой стороны, деликатно кушая пирог, слушала разговор Фрося.

Шалагин работал в цехе — монтировал новые станки, привезенные из Германии. С ним рядом работал Макухин.

— Слушай, — сказал Шалагин, — помоги немножко в личном вопросе, а?

— В каком это? — брюзгливо спросил Макухин.

— Строиться начинаю.

— Ну что ж, — сказал Макухин, — договориться можно.

— Мне договариваться не из чего, — сказал Шалагин. — Московских длинных копеечек нет у меня. По-товарищески: люди мне, я людям. — Макухин работал молча. — Как при коммунизме.

— Кабы здоровье, — сказал Макухин. — Вот в чем дело. Помочь можно. И как при коммунизме можно. Всё можно. Да печенка у меня больная. Вот в чем дело.

— Ну, если печенка... — сказал Шалагин.

Идя с работы, он увидел Ахрамовича. Тот копался в потрошках своего грузовика.

— Слушай, — сказал Шалагин, — ты в сторону Подборовья не собираешься?

— Может случиться, — отозвался Ахрамович, — а что?

— Лес мне оттуда надо привезти.

— Привезем, коли надо, — сказал Ахрамович.

Под вечер Шалагин проходил мимо крытой загородки временного поселкового клуба. Там рядом рос старый прекрасный тополь, а вправо и влево от него тянулись тоненькие, только что посаженные топольки. Висела рукописная афиша: «Сегодня кино». Молодежь по дощечкам обходила весенние лужи, группками собиралась у входа.

Шалагин шел медленно, кого-то ища, — нашел: под тополем стояла Полина, нарядная, щелкала орешки. С ней была Тоня, она первая увидела Шалагина и просияла радостью.

Он остановился:

— Привет, принцессы. В кино собрались?

— Приглашаем тебя с нами, — с усмешкой сказала Полина.

— Вот построю дом, тогда буду с вами ходить. Помогла бы мне, Полина, а? Полина!

— Шутишь, Гришенька.

— Не шучу. Поехали за материалом.

— На чем поехали?

— На Ахрамовиче.

— О, в кузове трястись!..

— Следующий раз легковую тебе подам. А пока — в кабину посажу. Давай-давай!

— А мы уже билеты взяли, — с той же усмешечкой ответила она.

— Ай-ай-ай! Громадный расход понесли! Ну ладно, поищу пойду которые еще билетов не взяли.

Он двинулся дальше. Тоня метнулась:

— Григорий Ильич! Я поеду! Я вам помогу! — Он оглянулся. — Я сейчас! — торопилась Тоня. — Только переоденусь сбегаю...

Полина догнала ее, взяла за локоть:

— Стой, Тонька. Остановись, говорю. Можешь не переодеваться: не поедешь. В кино иди.

Тоня возмутилась:

— Что ты командуешь? Почему не помочь человеку? Ты же отказалась...

— А ты уж и рада, что я отказалась...

— Жадная...

— Вот и жадная...

Тонино оживление погасло.

— Пожалуйста! — сказала она, дернув плечиками, и скучная пошла назад, а Полина с веселым лицом поспешила за Шалагиным:

— Надумала всё же, Гриша, тебе помочь.

— Больно платье шикарное, — поддразнил он.— Не испортишь?

— А что на него, на то платье, молиться, что ли, — сказала Полина.

— А правду говорят, — спросил Ахрамович, когда они втроем в Подборовье грузили на машину заготовленный Шалагиным лес, — будто ты Плещеева с мальчонкой к себе забрать собираешься?

— Не совсем так, — ответил Шалагин. — Два входа будут: один мой, другой его.

Полина, подняв бровь, поглядела любопытно.

— Это в том случае, — продолжал Шалагин, — если хозяйка моя не будет возражать.

— И хозяйка уже есть? — спросил Ахрамович.

— Да наметил.

— Хорошая?

— Да ничего вроде.

Полина, отвернувшись, силилась поднять бревно. Шалагин подошел, сказал с лаской:

— Дай я, Поля.

И такими добрыми глазами взглянул ей в глаза, что озарилось, смягчилось, стало девичьим от растерянности ее дерзкое лицо.

Фрося сидела в кабинете у Мошкина. Мошкин что-то писал.

— Так и сказал, значит, — спросил он, — «свежим ветром должно повеять»?

— Так, — подтвердила Фрося.

— «Придется советоваться с кадрами»?

— Так.

— Себя имел в виду?

— Это не могу сказать.

— «Графин звенел»?..

— Звенел...

— «Нельзя игнорировать кадры»? «Не выйдет»? Этими самыми словами?

— Да, именно, я хорошо запомнила, — сказала Фрося. — Очень гордо говорил. А люди ведь слушают. Мало что может быть, я и подумала: зайду к вам, посоветуюсь.

— Правильно сделали, — сказал Мошкин своим бесцветным голосом. — Так и обязаны поступать честные советские граждане. Я передам ваш сигнал куда следует. Сигнализируйте и впредь. Обо всем.

— Я постараюсь, — сказала Фрося.

———

Снова, как когда-то, шел Плещеев утром на завод. Он был побрит и почищен. Шалагин вел его.

Сотни людей их обгоняли.

— Здоров, Леонид! — окликнул знакомый. — На работу, что ли?

— Я — только попробовать! — сказал Плещеев. Беспокойная усмешка являлась и пропадала на его губах. — На автомат какой-то ставят... Не получится — бывайте здоровы!

— Слышишь, Григорий, — капризно сказал он Шалагину, — не понравится, — уйду, и ты ко мне тогда не приставай.

Несколько парней приостановились у входа в цех, глядя на приближающегося Плещеева. Они молча расступились перед ним. Он шагнул — и во мраке, окружающем его, услышал родной, деятельный, многоголосый шум цеха.

Это не тот был жалостный вид, что у Плещеевых на постройке. Двое здоровых, сильных взялись за дело. Пилили ли они, работал ли Шалагин рубанком, подносила ли ему Полина готовую оконную раму, — всё у них получалось ловко, споро, им на радость. И росла изба.

Светил месяц на белые стружки, на брошенный топор. Шалагин и Полина сели передохнуть. Он нарезáл хлеб складным ножом. Пили молоко, передавая друг другу бидончик. И Жук был тут же.

— Была ты Алешиной женой, — говорил Шалагин, — не то что сказать что-нибудь, — сам перед со-

бой старался делать вид, что ничего у меня нет к тебе...

Полина смотрела на месяц.

— Ты, конечно, Алешей на все сто процентов была занята, иной раз встретимся — даже не заметишь меня...

Она повернула голову и серьезно, внимательно оглядела его лунно светлым взглядом.

— А то улыбнешься, поздороваешься, — хожу и тоже улыбаюсь, как малахольный...

— Надо же! — шепнула Полина. — У меня и мысли не было... Ты всё с девчонками гулял. Не похож был на вздыхателя.

— Еще чего! — сказал Шалагин. — Это уж совсем было бы ни к чему.

— Я... — начала она, глотнула воздуху и замолчала.

— Что?

— Да нет, так... Ты, наверно, про меня чего ни наслышался...

Она говорила с трудом, запинаясь:

— Это им ничего не стоит — разобрать человека по косточкам... Никто не подумает, что́ нужно женщине... Женщине основа жизни нужна. Если она взялась за руку, то чтоб в уверенности была, что — крепко...

Он взял ее за руку:

— Всё будет хорошо, Поля.

— Разве может быть, как было? Как было — никогда уже не будет. Молоденькие мы были...

— Погоди, может лучше будет. — сказал Шалагин.

— Тогда у нас за плечами, — сказал он, — ничего кроме юности не было, а сейчас оглянешься — ух ты, сколько!..

— Глянь на меня, — сказал он.

Леня Плещеев прибежал в барак, где жила вдова Капустина со своими четырьмя детьми: сыном Павкой и тремя девочками поменьше, похожими друг на друга, как три белых мышонка. Девочки выносили из барака узлы и всякую утварь, а Павка укладывал это имущество в тачку, стоявшую на улице.

— Переезжаешь? — спросил Леня.

— Как видишь, — солидно ответил Павка. Он прилаживал среди вещей небольшую коробку, перевязанную веревочкой.

— Не сомнется? — спросил Леня. — Хочешь, я понесу?

— Не должна смяться.

Павка в их дружбе главенствовал. Он был ловок, крепко сбит. В семье, между погодками-сестрами, держался хозяином и мужчиной. Кроме того, у него имелись высшие интересы. В коробке, перевязанной веревочкой, находилась его коллекция марок.

Из барака вышла Капустина с узлом, за ней гуськом три девочки.

— Поехали! — сказала Капустина. — В добрый час!

Павка покатил тачку. Леня помогал ему руками и животом.

Капустины вселялись в новый пятиэтажный дом.

Он только что был отстроен, пока один-единственный — там, где до войны тянулась целая улица высоких домов. Его окна еще забрызганы были мелом, кое-где лишь виднелись занавески.

В одной из квартир Капустиным предоставили хорошую просторную угловую комнату.

— Мама, мама, — спрашивали девочки, — а где мы будем спать?

— Мы с вами в этой половине будем спать, — отвечала Капустина, — а Павка здесь. Это пускай его будет окно. Вы сюда не касайтесь.

— А почему Павке целое отдельное окно? — спросили девочки.

— Потому что он молодой человек, — ответила Капустина, и видно было, что этот молодой человек — главная в ее жизни любовь и надежда.

А Павка и Леня, небрежно оглянув квартиру, уединились в чистой, еще пустой кухне и занялись коробкой с марками.

— Вот это новая, — сказал Павка, раскладывая марки на плите. — Бразилия.

— Вот дьявол! — восхитился Леня. — И откуда ты достаешь?

— Это мне старик дал. Знаешь — который зимой без шапки ходит. Ух, у него коллекция!.. Надо попробовать зимой ходить без шапки.

— А не загнемся?

— Старик не загнулся, а мы загнемся? — сказал Павка.

Они завороженно перебирали пестрые разноязычные марки, воплощавшие для них весь земной шар.

— Вот, везде побывать, — сказал Павка, — тогда можно умереть спокойно.

— Ясно, тогда и умирать не жалко, — подтвердил Леня.

Они говорили о смерти с беспечностью людей, убежденных в своем бессмертии.

И Сотников привез в новый дом свою семью. Прямо со станции привез жену, двух сыновей и старушку мать. Они поднялись по лестнице, шофёр помогал нести чемодан. Вошли в квартиру, — там было пустовато, необжито, но уже стояла нужная мебель. Старушка села в кресло и сказала:

— Прямо не верится.

Сотников наклонился, поцеловал ее седую голову, прикрытую старинным черным кружевным шарфом:

— А ты, мама, прекрасно выглядишь.

— Говори громче, — вполголоса сказала жена. — Она слышит неважно.

Жена Сотникова была не первой молодости, судьба трудовая и скитальческая была написана на ее лице, руках, одежде. Она сразу принялась разбирать чемоданы, устраивать детям постели, готовить чай.

Сотников с мальчиками вышел на балкон. Оттуда, с высоты, как на ладони был виден завод, железная дорога, шоссе с бегущими машинами.

— Вот, ребята, — сказал Сотников, — мое хозяйство. Ничего?

— Ничего, — застенчиво откликнулся старший

сын. Оба сына немножко стеснялись отца — отвыкли.

— А вон, — сказал Сотников, — самолет летит.

— Мы видали самолеты, — сказал младший сын.

— А вон там, — сказал Сотников, — это еще следы бомбежки.

— Мы видали бомбежку, — сказал младший сын.

Потом оба мальчика крепко уснули вдвоем на одной кровати, а для Сотникова с женой настал час тихого душевного разговора.

— Как я устала, — сказала жена. — Если бы ты знал.

— Теперь отдохнешь, — сказал Сотников.

Наступила ночь. Публика расходилась с последнего киносеанса. Гасли окна.

По шоссе по направлению к поселку шла машина.

Последние парочки исчезли с улиц. Закрылся магазин, сторож уселся возле него на ночное дежурство. Машина тихо въехала в поселок, заскользила по улицам и пустырям, остановилась перед новым домом.

Резко прозвучал в тишине звонок. Позвонившие неподвижно ждали на лестничной площадке. Отворил Сотников, в пижаме.

— Что такое? — *спросил он недовольно.*

— Сотников Александр Васильевич? — спросил один из ночных гостей.

— Ну?..

Ночной гость сказал скороговоркой:

— Ознакомьтесь, — ордер на производство у вас обыска с последующим вашим арестом.

Сотников не взял бумажку. Лицо его стало тяжелым, старым...

На обратном пути машина прошла, ныряя по колдобинам, мимо плещеевской хибарки. Плещеев как раз выходил из дому, стоял на пороге. Невидящими глазами проводил он прошумевшую мимо машину.

Арест директора был, само собой, предметом раздумий и волнения. Перешептывались боязливо на заводском дворе, в курилках, в кабинетах заводоуправления. Перешептывались женщины с ведрами у водоразборных кранов. И пронзительно озираясь, безмолвный и загадочный проходил по заводу Мошкин, весь как бы изнутри светящийся бдительностью. Что-то в нем вдруг проступило в высшей степени сурово-государственное.

Старик Прохоров, придя с работы, спросил у Ульяны:

— Слышала?

Она ответила вопросом:

— А тебе ничего быть не может? Он к нам заходил...

— А!.. — с тоской и отвращением махнул рукой Прохоров и ушел.

А Полина пришла веселая, помолодевшая.

— Ну вот, мамаша, — сказала она. — Не буду вас больше обременять.

— В общежитие уходишь, что ли? — сухо спросила Ульяна.

— Не в общежитие, — замуж.

— Это за кого же?

— Угадайте, не трудно.

— За Шалагина? — упавшим голосом спросила Ульяна.

— А что — плохой жених?

— Ты-то больно хороша невеста.

— Чем же это я так уж нехороша?

— И он, змей, — сказала Ульяна, — чуть ли не родным прикинулся, пришел и чужую вдову сманил... И трех лет не прошло!

Полина резко засмеялась.

— Да разве бывают чужие вдовы? Вдовы, мамаша, ничьи... А три года — дайте сосчитаю — больше тысячи дней. Тысяча дней, это надо же?

— Ты эту тыщу дней даром не теряла...

Они обменялись ненавистным взглядом.

— Уходи отсюда, — сказала Ульяна. — Забирай свои манатки и уходи, и чтоб Гришки тоже духу здесь не было.

Она отвернулась и не оборачивалась, пока Полина собирала свои вещи. Портрет Алексея и молоденькой Полины смотрел со стены.

— До свиданья, мамаша, — сказала Полина, собравшись.

Ульяна не ответила. Весь ее вид выражал осуждение, непонимание, беспомощность.

— Алешенька! — зарыдала она, когда Полина ушла. — Сыночек! Алеша!

Так, рыдающей перед портретом, застала ее зашедшая Фрося. Быстро сообразила, взяла за плечи ласково:

— Ульяна Федоровна, голубушка, слезами не вернешь, его святая воля...

— Фросенька! — бессвязно жаловалась Ульяна. — Никого не осталось... Хоть бы внук, либо внучка... Околевать вдвоем старым...

— Ульяна Федоровна, — сказала Фрося, — вы помолитесь. Молитва горе умягчает. Легче вам будет. И Алеше вашему радость, что за него мать помолится. Давайте вместе: упокой, господи, душу усопшего раба твоего воина Алексея.

— Упокой, господи, — повторила Ульяна.

А Полина жаловалась Шалагину — и так не похожа была на счастливую новобрачную:

— Как я к ним пришла когда-то, когда меня Алеша привел... и как ушла... Как будто я виновата, что его убили...

А Шалагин утешал ее, говоря:

— Ничего. Ничего. Всё наладим. Всё залечится. Ничего.

Десять лет прошло.

Старый тополь изменился мало, а молодые выросли и окрепли... Не узнать поселка, только река да лес остались на своих вековых местах, да завод стоит где стоял, а остальное всё наново. На месте временного клуба появился Дом культуры, большой, по недавним временам — модный, с колоннадой и высокими ступенями, как у паперти. Громадные просторы той части поселка, что покрыта была развалинами, землянками, бараками, — эти просторы застроены аккуратно распланированными большими домами со сквериками и уютом. К реке спускается крыло поселка. Там стоит дом Шалагина. Чем ближе к реке, тем больше похож поселок на деревню с вольно разбросанными домиками, огородами, петушиными криками и лодками на берегу. И так как поселок всё стремится расширяться, прихорашиваться, достраиваться и перестраиваться, то вперемежку с местечками благоухоженными и даже вылощенными в нем встречаются местечки вовсе неблагоухоженные, немощеные, разрытые, с кучами песка и щебня, со сваленными строительными блоками и трубами...

В Доме культуры шло собрание. Большой зал был битком набит. С трибуны читали материалы XX съезда партии. Был март 1956 года.

Зал слушал не двигаясь, не перешептываясь, не кашляя, — замер слушая. Тут были и Шалагин с Полиной, и Капустина, и старик Прохоров, и около Плещеева сидели два парня — его сын Леня и Павел Капустин.

Мошкин видел их всех, сидя за столом на эстраде. С одного лица на другое, подолгу задерживаясь, изучая, переводил он взгляд. За эти годы он приобрел начальственную осанку, то есть научился высоко держать подбородок и топорщить плечи, он был теперь на месте Сотникова — директор завода. Но никогда еще не всматривался он в зал так, как сейчас. Потому что привык видеть в зале массу, а сейчас ему важно было увидеть каждого.

При этом, однако, он избегал встречаться глазами с кем бы то ни было; с непроницаемым видом отводил их, едва возникала такая опасность. Так

же поступила сидевшая у окна Фрося, когда чуть-чуть было не соприкоснулась с ним взглядом. При этом она потихоньку, незаметно для окружающих, перекрестилась под шарфом.

И Макухин с Ахрамовичем были в зале и слушали, гигант Ахрамович — в изумлении и испуге, Макухин — изобразив на лице благородное негодование.

Чтение закончилось. Выступлений не было. Так же тихо, благообразно расходились, как слушали.

Плещеев пошел с Шалагиными, а Леня с Павлом. Некоторое время парни шли молча.

— Нет! — сказал Павел. — Я знаю, что́ ты думаешь, — нет!

— Твой отец в бою погиб, — сказал Леня, — мой — зрение потерял... Шли со словами — за Родину, за Сталина...

— Ну, лично я считаю, — сказал Павел, — слова — это на собраниях. Настоящее дело молча делается... Убили отца, да. Но мне это обидно связывать... Не за Сталина он погиб! За жизнь народ боролся, за всё, понимаешь, что своими руками сделал и собирался сделать...

— Не персонально за Сталина, — согласился Леня, — но всё-таки... как-то... Всегда, наверно, трудно такие вещи узнавать. Спокойней, должно быть, не узнавать... Правда же!

— А еще бы! — воскликнул Павел. — Конечно, растительной жизнью куда спокойней жить! Чтоб ни о чем голова не болела — делай, что тебе велят, и ладно. Слушай, много ли мы с тобой вообще-то думаем? Работа, да учеба, да киношка, да девчата...

— Я, наверно, много пропустил, когда читали, — говорил Павел дальше, — а почему — потому что я слушал-слушал и задумывался, задумаюсь и перестаю слышать... Пусть трудно. Но я всё хочу знать. Так лучше.

Потом они говорили о себе.

— У тебя, значит, всё решено, счастливый, — сказал Леня.

— Да. Летаем, Ленечка. — Павел легко перескочил через лежащую у них на дороге трубу.

— Полетишь, всё повидаешь...

— Жалко, что не вместе, — сказал Павел. — Здо́рово было бы.

— Ну где мне, — сказал Леня с горечью. — Я и проситься не могу. Я — сиделка.

Они замолкли и шли плечо к плечу, как братья. Их дружба стала с годами еще крепче. В этой дружбе Павел по-прежнему держался как старший, хотя они были ровесники, а Леня гордился им и смотрел на него с доверием и любовью.

Плещеевы жили теперь в доме, построенном Шалагиным и Полиной, и хотя к ним был отдельный вход и жизнь у двух семей была розная, — Шалагины присматривали за Плещеевыми и неназойливо их опекали. Когда после собрания Леня ушел с Павлом, Шалагины привели слепого к себе и усадили ужинать. О том, что было прочитано на собрании, почти не разговаривали. Шалагин сказал только:

— Вот так и Сотников, наверно, сгорел.

Но когда Плещеев вдруг заговорил повышенным тоном:

— Что же это делалось, что делалось?.. — Шалагин положил руку ему на руку, остановил:

— Потом. Не хочу об этом говорить с кондачка. Подумавши хочу говорить. — После молчания добавил: — Думать в основном о чем надо? Чтоб больше не стряслось такое.

— Об этом думай не думай, — сказал Плещеев, — от нас не зависит.

— Ну как не зависит! — возразил Шалагин. — Очень даже зависит. Теперь мы, брат, ученые.

— Дай я нарежу, — сказала Полина, увидев, как Плещеев режет мясо.

— Добрая ты, Поля, — сказал он благодарно.

Она грустно пошутила:

— Муж велит быть доброй.

И Шалагин поглядел на нее с выражением ласки и заботы, потому что помимо общих, громадных, вселенских дел у них были свои дела, от которых голова, как говорится, болела только у них двоих, и в этих делах имелась незадача, обида, печаль, мешавшая их счастью: не было детей, и гордая Полина, отложив свою гордость в сторонку, ходила в поликлинику и советовалась с Тоней, которая тем временем выучилась на гинеколога и принимала женщин в кабинете. Поликлиника была новая, отлично оборудованная, — того домишка, где Тоня когда-то делала Шалагину перевязку, и след простыл.

— Всё ж таки, ну отчего оно может быть? — спрашивала Полина. — Сколько лет женаты, уже

сколько могло бы детей быть, — и ничего. Если уж у нас с ним организмы нездоровые, у кого ж они тогда здоровые? Сказать бы, он много раз ранен был; так доктора признали — это не причина. Неужели во мне причина?

Тоня выписывала рецепт. На ее бесцветном лице боролись разные чувства. Сопернице было плохо, соперница страдала, но соперница была пациентка, а она, Тоня, — врач. Поджатыми бледными губами Тоня сказала:

— Аборты делала, вот и причина.

— Так ведь давно...

— Очень может быть — это результат. Бывает. Попробуешь попринимать вот это.

Полина уныло пошла с рецептом, а Тоня глядела ей вслед — какая она красивая, сильная, привлекательная даже в унынии.

Что это за шаги слышатся, сперва негромкие, потом всё ближе, — и вот они рядом? Это заживо погребенные выходят из своих безвестных могил, забытые выходят из забвения, это Сотников идет по заводу.

Он шел мимо новых цехов, заходил — смотрел на новые машины, останавливал взгляд на лицах. У фрезерного станка работала Фрося, степенная, как всегда. Пронзительно взглянула на приближавшегося Сотникова, опустила глаза на работу. И он смотрел на нее пристально, вспоминая, — не вспомнил, прошел. Фрося с облегчением подняла взор к потолку.

Во дворе навстречу Сотникову попался Ахрамович. Таким же изумленным стало его лицо, как тогда на собрании.

— Здравствуйте! — сказал он празднично и снял шапку.

— Добрый день, — ответил Сотников.

— С возвращением! — сказал Ахрамович.

— Спасибо. — Сотников прошел. Ахрамовичу стало неловко... Подошел Макухин.

— Видал, Сотников вернулся! — сказал Ахрамович.

— Мда, — сказал Макухин. — Не все ему обрадуются...

Из машинного отделения вышел Прохоров. Не в его характере было ликовать вслух, но сейчас он, широко улыбаясь, шагнул к Сотникову:

— С приездом, Александр Васильич!

— Здравствуйте, Дмитрий Иваныч, — отозвался Сотников, остановившись. Он был приветлив, но какая-то новая появилась в нем сдержанность, почти замкнутость.

— А вы не постарели, Александр Васильич, — сказал Прохоров, желая всячески его приветить. — Ей-богу, если постарели, то самую малость! Заходите к нам, по старой памяти. Милости просим. Мы теперь в новом доме, сейчас вам адрес запишу. — Он торопливо вытащил блокнотик и карандаш, стал писать. Сотников вежливо ждал.

— Вот, — протянул Прохоров листок. — Сегодня же, вечерком!

— Постараюсь, — сказал Сотников.

— Как супруга, детишки, всё ли благополучно?

— Спасибо, всё в порядке.

И, кивнув, Сотников пошел своей дорогой.

Во втором этаже заводоуправления сквозь стекло смутным пятном глянуло внимательное лицо — Мошкин...

Вечером старики Прохоровы, приодевшись, сидели в своей новой квартире с радиолой и телевизором и ждали.

— Хватит, — решительно сказал Прохоров. — Хватит ждать. Ужинать давай.

— Сколько тебя из-за него таскали, — не выдержала Ульяна, — сколько допрашивали, как ты его выручить старался, а он не пришел. И не предупредил даже. Уж предупредить мог бы. Были когда-то земляки, а теперь, видать, мы для него мелкая сошка.

— Сошка? — возмутился Прохоров. — Это что значит? Что это за слово такое? Сошек нет на свете, это слово, знай, глупые люди придумали, и подлые, да, подлые, а в моем доме чтоб я этого слова не слышал!..

Мошкин обитал в заводоуправлении за обитой дерматином дверью, на которой висела дощечка: «Директор». Он проводил там время до позднего вечера, и с ним бодрствовали в боевой готовности секретарши и телефонистки.

Он сидел под канцелярской лампой, слегка постаревший, научившийся начальственно держать подбородок и плечи, облаченный в штатский костюм, — при этом новый пиджак сидел на нем так же

нескладно, как в былые времена старый китель, потому что меньше всего интересовало Мошкина, что как на нем сидит.

При виде Сотникова, вошедшего в приемную, секретарша вскочила, побежала в кабинет. Сотников усмехнулся и прошел за нею, не дожидаясь, пока она доложит.

Лицо Мошкина, освещенное лампой, не дрогнуло.

— Это вы, — сказал он равнодушно. — Мы, помнится, договорились, что вы начнете принимать дела с завтрашнего утра.

— Поговорить надо, — сказал Сотников и сел напротив.

Взглядом Мошкин услал секретаршу.

— Что ж, поговорим. Курите. — Мошкин придвинул папиросы. Сотников достал свои, зажег спичку, закурил.

— Я слушаю, — сказал Мошкин.

— После реабилитации, — сказал Сотников, — следователь дал мне прочесть мое дело. Я прочел всё.

— Да? — уронил Мошкин.

— Да. И скажу тебе так. Простить это — нельзя, а переступить через это — придется. Так что будем считать: не ты меня посадил. Сталин меня посадил.

— Конечно, Сталин, — сказал Мошкин. — Как бы я тебя посадил, смешно. Кто я такой, чтоб кого-то сажать?

— Почему приходится переступить? — продолжал Сотников, не слушая. — Потому что работать надо. А если бы не это — судить бы тебя...

— Нет! — сказал Мошкин. — Судить меня не за что. Ведь ты на самом деле говорил те слова — ну, помнишь? Насчет кадров, что должен советоваться? Насчет свежего ветра?.. — Мошкин перечислял, многозначительно прижмурив глаз.

— Да я это где угодно и когда угодно скажу!

— Сейчас-то конечно. Сейчас это безопасно и даже поощряется... Раз говорил — судить меня нельзя. Я сигнализировал, — и каждый обязан сигнализировать, сам знаешь, не маленький. А что тебя посадили — при чем тут я? Ты бы не сигнализировал на моем месте?

Сотников брезгливо сморщился.

— Другое дело, — сказал Мошкин, — что обо мне никто никогда ничего не мог, не может и не сможет сигнализировать!

— Ничего ты не понял, обреченный ты человек, — сказал Сотников.

— Зато ты опять в полном порядке, — сказал Мошкин. — Вернулся, и обратно на старое место, заводом командовать.

— Открой секрет, Мошкин: как это ты им командовал эти годы, с твоим-то багажом?

— Не уязвишь, — сказал Мошкин. — Потому что мне ничего не надо, я солдат. Куда послали, что велели — это дело партии. Я иду, как солдат, сражаюсь, и всё!

— Только не это слово! — сказал Сотников. — Не солдат ты, Мошкин, а совсем другое.

— А я не могу, — сказал Мошкин, — а мне противен, нутру моему противен гонор твой, барство, интеллигентский душок твой... Серьезный работник,

а брюки сузил! Шестой десяток, в каких переплетах побывал, а брючки сузил, эх!

И вдруг Сотников расхохотался — звонко, по-молодому.

— Десять лет я про вас думал, — сказал он, — про вас, мошкиных, десять лет... а до такого недодумался. Чтоб когда я вернусь, ты бы, сукин сын, в душу мне и не посмотрел, на брюки бы мои посмотрел, — до этого недодумался я, нет... Брюки, надо же!.. А впрочем! Что́ мошкиным душа — чья бы ни было! Что́ ты о ней, подонок, знаешь! Ты не человеку служишь, так что́ тебе человек! Я ли, другой ли! Для вас люди материал, материал, не больше!..

— Ругайся, — сказал Мошкин. — Смейся. Веры моей ты не поколеблешь. Ну, материал. И что? Спасибо скажите, что приняли вас на материал для великих целе́й. Сейчас твоя взяла... И не нервничай, не придется нам вместе работать — принимай дела, а я на другой работе перебуду до пенсии. Работу мне подберут, обязаны, как-никак номенклатура...

— Ну и правильно, — сказал Сотников, вставая. — Вряд ли у нас контакт получится. Об одном подумай: может, если перед судом своей совести ответишь, перед другим судом отвечать не придется. Вот о совести подумай.

— У меня совесть чиста, — твердо ответил Мошкин.

В доме Шалагина, как уже сказано, были две половины, два крыльца. В одной половине комната и кухня и в другой комната и кухня. С одного хода жили супруги Шалагины, с другого Плещеевы, отец

и сын. У Шалагиных перед крыльцом росла яблонька, у Плещеевых куст сирени. У Шалагиных было нарядно, кровать под покрывалом, цветы в горшках, а Плещеевы жили по-холостяцки, уютом не интересовались. Но сора у них не было — Полина следила, обстановка была крепкая и опрятная — и отец и сын работали на заводе, зарабатывали, — на столе стоял хороший дорогой радиоприемник.

Плещеев-отец сидел у приемника, крутил ручку, перебираясь со станции на станцию. В комнате гремели бессвязные громы, обрывки музыки и иностранной речи. Вдруг врывался голос с аэродрома, передававший сводку погоды: «Видимость пятьсот, ветер одиннадцать, направление северо-северо-восток». Леня рядом, в кухоньке, стоя читал газету, развернув ее на кухонном столе.

— Не только о тебе, — сказал Леня, входя с газетой, и Плещеев выключил приемник. — Не только о тебе, и обо мне упомянули. А называется «Жизнь — подвиг».

— Мне уже в цехе Макухин читал, — сказал Плещеев. — С выражением. Ерунда, сынок. Гриша уговорил меня работать, я попробовал — вроде получается, ну и остался, чтоб не скучать. Так было дело. Житейское дело, а подвиг — это чтоб людям читать было интересней.

— Всё равно приятно, — сказал Леня. — Сегодня вообще день хороший. Павка из училища приехал на целых три дня, — я с ним в Дом культуры схожу, ничего?

— Ясно, иди, — сказал Плещеев. — Чего тебе со мной сидеть, иди гуляй.

— Павка должен зайти, мы пойдем, — ответил Леня. Он прилег с газетой на оттоманку, а Плещеев вернулся к приемнику, и опять забродили по дому эфирные шумы.

За прошедшие годы, превратившие маленького Леню в молодого мужчину, Плещеев-отец почти не постарел. Он казался старшим братом своего сына. Самоуважение вернулось к нему, истеричность исчезла, осталась только некоторая склонность к рисовке. Он уверенно двигался в своем жилище, уверенно, как зрячий, брал папиросы со стола и закуривал. Движения его пальцев были легки, изящны и точны. Одет был хорошо и чисто, даже очки были новые, в красивой оправе.

— Как думаешь, — спросил он вдруг, — может, и она про нас прочтет?

— Может быть, — сказал Леня.

— Пускай там что угодно, — сказал Плещеев, — пускай новая семья, — всё-таки, наверно, приятно ей будет прочитать.

— Не знаю, — сказал Леня. — Думаю, приятно. — Он говорил холодно, как о чужом человеке. — Там, насколько я понимаю, и не семья. Не получается у нее...

— Раз не получается, — сказал Плещеев, — куда ж ей, как не сюда?..

— Нет, — сказал Леня. — Не приедет. Лично я давно уже не жду.

— Ты можешь не ждать, а я не могу. Мне нельзя не ждать. До сих пор всё кажется — вот звонок зазвонит, и голос ее услышу.

Леня закрыл глаза, и мрак обступил его. Во мраке громче стали звуки из эфира; стало слышно, как дышит отец... Оглушительно, как будильник, как боевая тревога, зазвонил дверной звонок.

Плещеев слышал, как прогрохотали шаги Лени, вскочившего с оттоманки. Раздались голоса:

— С трудом выбрался. Семейство никак не отпускало. — Голос Павла Капустина.

— Заходи. — Голос Лени.

Плещеев перевел дух. Звуки стали нормальными, будничными... Он снова занялся приемником. Вошел Павел в курсантской летной форме:

— Добрый вечер, Леонид Антоныч!

— Добрый, — отозвался Плещеев. — С приездом.

— Читал в газете, — сказал Павел. — Очень здóрово, поздравляю!

Плещеев ничего не сказал, вертел ручку. Из приемника донеслась мелодия, искаженная джаз-оркестром. Сладкий эстрадный голос пел «Землянку» на непонятном языке.

— Так пошли? — спросил Павел у Лени. — Там что, танцы сегодня? — Он стал мужественней, стройней, настроение у него было отпускное, праздничное.

— Танцы, — ответил Леня. — Дай галстук завязать.

— Идите, ребята, — сказал Плещеев.

Дом культуры был украшением поселка. Чего стоила одна колоннада по фронтону и площадь, обсаженная молоденькими деревьями, окруженная бесчисленными фонарями. Через площадь ко входу тянулись парни и девушки в лучших своих нарядах,

отглаженных и начищенных так, как только бывают отглажены и начищены единственные выходные наряды. Небогатые рыцари не так, наверно, наводили лоск на свои скромные доспехи, отправляясь на турнир, как эта молодежь на свои ботинки, брюки, пиджаки, рубашки и платья.

— Настоящие летчики парашюта терпеть не могут, — оживленно рассказывал Павел, подходя с Леней к Дому. — Когда у нас объявляют прыжки, в медпункт выстраивается целая очередь — все находят у себя какие-нибудь болезни...

— А ты как? — спросил Леня, с восторгом глядя на товарища.

— Я не боюсь, но машина, конечно, надежней, чем тряпка.

Они вошли в зал, где играл оркестр и танцевали.

— Разобьем эту пару? — предложил Павел. Он показал на двух девушек, беленькую и черненькую, которые лениво вертелись друг с дружкой в ожидании кавалеров.

Они разбили пару, Павел повел беленькую, Леня — черненькую. Танцуя, Леня и не смотрел на свою даму, он следил за Павлом и не переставал восхищаться им. Павел танцевал отлично и с новшествами, еще не виданными в поселке, — насколько возможны новшества в таком чинном старинном танце, как вальс. Мирная мечтательная музыка, мирная обстановка зала не предвещали ничего недоброго. Поэтому когда раздался свист и громкий голос одного из молодых парней, стоявших у стены, — обернулись все.

— Эй, Наташка! — крикнул парень беленькой

девушке, которая танцевала с Павлом. — Танцуй сюда!

Наташа подумала и пошла к парню, Павел с нею, поддерживая под руку. Как раз и музыка кончилась.

— Чего ты кричишь! — сказала Наташа. — Как в лесу!

И Леня вслед за Павлом подошел со своей черненькой.

— А как тебя звать, — спросил парень, — шепотом, что ли? Приятель мой с тобой знакомиться желает. Потанцуй с ним.

— Я уже обещала, — сказала Наташа нерешительно.

— Кому? — Парень вызывающе кивнул на Павла. — Этому шпроту?

— Ну-ну! — миролюбиво остановил Павел.

— Костя! — с укором сказала Наташа. — Его зовут Павел.

— В чем дело? — спросил Костин приятель. — Я подожду, танцуйте, в чем дело?

Оркестр снова заиграл, на этот раз фокстрот.

— А я не подожду! — сказал Костя и подхватил Наташу. Она рванулась, он толкнул ее в спину. Павел, Леня, еще несколько ребят бросились к ним.

— А ну, вон отсюда! — сказал один из парней, энергично выталкивая Костю из круга танцующих.

— Да пошел ты! — отбивался Костя. — Не твое дело!

— Давай, давай отсюда, — сказал другой парень.

Костю вывели из зала. Инцидент был исчерпан, оркестр приударил с новым воодушевлением, танцы продолжались.

К Плещееву тем временем зашел Макухин. Он был неузнаваем: бритый, подстриженный, в новом, из магазина, костюме. При всем том в шалагинский двор он вошел осторожно, с оглядкой, и не позвонил, а тихонько постучал в окно.

— За тобой! — сказал он, когда Плещеев ему отворил. — Уважь, Леонид, — такой день, что отказаться не имеешь права! Даже моя мадам пирогов напекла.

— Ну сколько тебе, ей-богу, говорить! — сказал Плещеев. — Ну бросил я. Соблюдаю норму, а с тобой разве соблюдешь норму?

— Вот честное слово честного человека! — Макухин прижал ладонь к галстуку. — Выпьешь свою норму, и никто ничего тебе не скажет, а мадам даже в восторге будет, она тоже трезвенница. С представителями цехового комитета завтра отмечаю, а сегодня посидим по-домашнему, как старые друзья. Ну? Леонид! Уважь! Не каждый день человеку пятьдесят исполняется! И какие, Леонид, пятьдесят, — трудовые! Рабочие! Ну? Леонид!

Из Дома культуры вышли вчетвером: Павел, Леня, Наташа и ее черненькая подруга. Перешли площадь — вдруг из тени им навстречу Костя и с ним человек пять-шесть приятелей.

— Павел, смотрите! — сказала Наташа, прижавшись к его плечу.

Костя стал перед Павлом.

— Ты что за начальник? — сказал он. — Отвечай: кто ты такой, чтоб над нами командовать?

— Иди-иди, парень, — сказал Павел.

— За такие дела, — сказал Костя, — знаешь, что бывает? — Его приятели обступили их стеной. — Мы тебе скажем, что бывает!

— Костя, ты выпил! — сказала Наташа. — Уйди! Ну я тебя прошу!

Павел улыбнулся открыто и миролюбиво.

— Интересно послушать, — сказал он. — Хором будете рассказывать или по одному?

— Шпрот! — сказал Костя. И понес те дурацкие слова, какими хулиганьё разжигает уличную драку средней руки.

— Ладно! Считаю — достаточно. — Павел начал сердиться. — Пропустите, хватит дурака валять!

— За такие дела глаза тебе выбить мало! — театрально хорохорясь, выкрикнул Костя.

Леню при этом слове как подменили.

— Глаза?! — переспросил он не своим голосом. — Ах сволочь, ах сволочь!

Он бросился на Костю.

— Ну, ну, ну, — сказал Павел. — Разойдись, брейк, ребята. — И встал между Леней и Костей, разводя их.

Никто ничего толком не заметил — всё произошло очень быстро. Павел вдруг стал падать, закричала Наташа, метнулись, убегая, приятели. Костя постоял секунду, не сразу поняв, что случилось, потом тоже

побежал прочь. Павел лежал не двигаясь. Леня наклонился над ним, попытался поднять.

— Павка, Павка! — и тряс его в отчаянии, сам не понимая, что́ делает. Подбегали прохожие. Толпа увеличивалась, грозно плотнея в темноте.

— В спину, — переговаривались в толпе. — Нечисть проклятая. — А кто? — Найдут. — Расстреливать надо гадов. — Парня-то не вернешь. — Чей парень-то? — Курсант какой-то, летчик. — Эх, летчик, долетался...

Подъехала машина скорой помощи и машина с милицией. Люди в белых халатах и форменных кителях прошли через толпу, положили Павла на носилки. Капитан милиции спросил у Лени:

— Вы были при этом?

— Да, — ответил Леня.

— И я была, — сказала Наташа.

— Поедете с нами, — сказал капитан.

Павла понесли, следователь стал писать в блокноте. Леня, Наташа и черненькая пошли за капитаном к машине.

— А зачем к ней сейчас идти, ночью? — сказал капитан. — Утром сходишь. Пускай поспит.

— Она не спит, — сказал Леня. — Она его ждет. Он только вчера приехал.

Разговор происходил в отделении милиции, после того как обо всем было спрошено и записано.

— Ночью — это хуже нет родным сообщать, — настаивал капитан.—Уж ты мне поверь. Опыт имею.

— Ладно, — сказал Леня.—Если света нет у них в окнах, — утром схожу.

Огни в окнах гасли один за другим, только улицы оставались светлыми линиями в засыпающем поселке, да светлыми полосками висели лестничные клетки в высоких домах. Вдруг разом выключили уличное освещение, — спать пора людям. Леня шел по темной улице, и за ним, на расстоянии, Наташа с подругой.

— Леня! — робко окликнула Наташа. — Может, правда, лучше утром?

Леня молчал.

— Леня! Как же вы скажете?..

Леня молчал. Он увидел — окна угловой комнаты Капустиных освещены, там не спят.

Он вошел в подъезд. Беленькая и черненькая, не осмеливаясь ни войти, ни удалиться, сели на каменном крыльце. Ноги их устали от высоких каблуков, и они сняли туфли и поставили рядом. И сидели не говоря ни слова, подпершись кулачками.

Бодрствовала только мать, дочери спали, — все три были еще тут, под материнским крылом.

На столе был прикрыт полотенцем ужин. Капустина стелила постель на диване — аккуратно, любовно — для Павла. Затревожиться она еще не успела, хотя и посматривала на часы — дешевенький будильник. Когда раздался звонок, пошла отворять с счастливым лицом. Увидела Леню, и в первый момент не дошло до нее, что он один. Потом спросила, всё еще спокойно:

— А Павка?

Леня молчал. — она посмотрела на его лицо,

попятилась... Леня медленно пошел за нею, — она всё пятилась, глядя на него, всё отступала от страшной беды...

...Она сидела у стола, ее узловатые, натруженные руки безжизненно лежали на коленях. Дочери проснулись, сидели на своих постелях, еще ничего не понимая. Белела постель, приготовленная для Павла.

— Я пойду, — громко сказала Капустина, вставая.

— Куда? — спросил Леня.

— А вдруг он ранен только? Леня, голубчик мой, вдруг он только ранен!!

Она безумно кинулась к двери. Леня ее перехватил. Дочери, забыв об его присутствии, вскочили, окружили мать:

— Мама, что ты, мама, не надо, мама!

Они усадили ее, гладили. Она стихла в изнеможении.

— Значит, еще и это, — сказала. — Значит, еще и это...

— Леня, ты иди, — сказала старшая из дочерей, увидев, что они в одних рубашках. — Мы с ней будем.

— Иди, Леня, иди, — сказала и Капустина. — Отец беспокоится твой, не надо беспокоить...

Одна из девушек, накинув платок, пошла запереть за Леней.

— Поймают их? — спросила она.

— Уже поймали, наверно.

— Кто же они? — спросила девушка. Она стояла перед ним в передней босая, в рубашке, с вязаным платком на плечах.

— Наши, здешние. Из поселка.

— Свои — своего? — сказала девушка. — Папу нашего — фашисты, а тут?..

Она не досказала, и они только посмотрели с Леней друг другу в глаза, и взгляд этот был мрачный, остро непримиримый.

У Макухина было накурено так, что люди и предметы еле проступали в тумане. Ахрамович лежал на кровати, вытянувшись во весь свой рост, и мутно глядел в потолок. Плещеев стоял у двери, собираясь уходить, а Макухин его уговаривал:

— Ну, послушай, не порти друзьям настроение, посиди. Ну мне это прямо обидно, что ты уже уходишь. Это ты загордился, что про тебя в газете напечатали, — ну и что? Про меня тоже в газете печатали, — ну и что?

— Про тебя печатали, что ты водку лакаешь без просыпа, вот что про тебя печатали! — прокричала из-за перегородки жена Макухина. Она уже легла, но не могла спать.

— Леонид! — Макухин держал Плещеева за рукав. — Ведь пятьдесят лет! А лет было мало, всё больше зимы, Леонид, всё больше зимы! А Ахрамович рухнул, — что ж мне, одному отмечать юбилей?

— Нет, я пошел, — сказал Плещеев, стараясь держаться трезвым, хотя заметно перебрал свою норму.

— И давно пора! — крикнула жена. — Выметайтесь все, юбилейщики!

— Я пошел, пошел, — повторял Плещеев.

— Я тебя провожу, Леня, — сказал Ахрамович и заснул богатырским сном. Плещеев один вышел в темноту.

Шалагин и Леня стучались к Макухину.

— Кого еще черти несут? — провизжала жена.

— Плещеев у вас?

— Нету Плещеева! Домой ушел!

— Как, один, ночью? — яростно спросил Шалагин.

— А ему не всё одно, что день, что ночь? — озлобленно спросила женщина. — Провожатых-то нет. Дрыхнут провожатые.

Шалагин и Леня двинулись дальше на поиски.

Плещеев шел, постукивая палкой по тротуару. Палка ударилась о ствол дерева, выпала из рук. Он нагнулся было ее поднять, но закачался, чуть не упал и пошел дальше без палки, с выставленными вперед руками.

Показалось недостроенное большое здание, — об его близости Плещеева предупредили исчезновение тротуара, разрытая земля, колеи, проложенные машинами, дощечки, переброшенные через канавы.

— Уже близко, — сказал Плещеев, нащупывая ногой колею.

Колея шла, шла и свернула.

— Эй! — позвал Плещеев. — Люди! Теперь куда?

Но была глубокая ночь, никто не отозвался. Резко светили лампы... Плещеев постоял и побрел дальше. Потеряв направление, забрел в глубь строительного участка и заблудился окончательно. То его вы-

тянутые руки упирались в штабель блоков, то оскользалась нога на мокрой глине, и, стремясь удержаться, он хватался за что-то, и это что-то оказывалось кучей песка, и в сыпучий песок уходили пальцы... Но вот он очутился перед стеной. Его пальцы определили точно — это стена. Они нащупали дверной проем.

— Кто тут есть? — позвал Плещеев. — Эй, хозяева!.. — и, споткнувшись, полетел в глубь дома.

На заводе кончилась первая смена.

Леня Плещеев почти бегом бежал домой. Распахнул калитку и увидел—на крыльце стоит женщина.

Мать. Он узнал ее сразу.

Они друг на друга смотрели и не могли сказать ничего. Наконец она сказала:

— Ленечка...

Он отозвался растерянно:

— Здравствуйте...

— А я звоню-звоню, — сказала она еще растерянней.

Он открыл дверь. Внес ее вещи. Это надо было, он это сделал. Что еще надо, — не знал, не соображал. Так неожиданно. И отвык...

Это был совсем, совсем не тот мальчик в ушанке, что ушел от нее когда-то в вьюжную ночь. И жилье было другое. И она, Мария, другая. И по всем этим причинам, и по многим другим, вместе взятым, она горько плакала, сидя на оттоманке,—исходила слезами. И была похожа не на жену, мать, хозяйку, вернувшуюся домой, а на гостью, которой не ждали.

Так сиротливо стоял на полу ее багаж: туго набитая авоська и старый чемодан, перевязанный веревкой, чтоб не раскрылся.

— А папа где же?—прошептала она, сморкаясь.

— В больнице.

Она испугалась:

— Что с ним? Опасно?..

— Ничего, — совсем по-шалагински ответил Леня. — Обойдется. Могло быть хуже... Завтра пойдем к нему. Вместе.

— А может, — спросила она, — он не захочет, чтоб я?.. Может, лучше спросить сначала... у него?

— Да нет же! — сказал Леня. — Он рад будет! Честное слово! Он звонки слушал, ждал...

— Господи! — задыхаясь, прошептала Мария.

Лёне и жалко было ее, и тягостно, всё бы, кажется, отдал, чтоб обошлось без слез, — и, конечно, сумбур в его чувствах был полнейший, — но ему было некогда, он ужасно спешил и сказал:

— Ты не обижайся, мама, мне уходить надо.

Она вся сжалась и быстро ответила:

— Конечно, иди, куда тебе нужно.

Он увидел, что сделал ее уж окончательно несчастной.

— Ты не думай, я... я на похороны иду. Товарищ мой... Ты его, наверно, помнишь: Пава. Капустин.

И то, что он ей это сказал, как бы поделившись с ней своим горем и так просто, без всякого укора, упомянув об их прежней совместной жизни,—облегчило Марию.

— Помню, помню! Отчего ж он?.. Ну потом расскажешь, потом!

Леня наспех переоделся и убежал.

Мария прошлась по квартирке, осматриваясь робко. На вешалке висело пальто, она осмотрела его с особым вниманием; даже понюхала... Села над своим чемоданом, стала развязывать веревку,—похоронный марш донесся издалека, глухие удары, словно говорящие: «и не жди, и не надейся, ничего уже не будет хорошего», — опять затосковала Мария, упали руки...

Павла хоронил весь поселок.

Шли старики и старухи, и молодежь, и пионеры, и начальники, и просто жители.

И девушка Наташа шла, и ее черненькая подружка.

И Шалагин с Полиной.

Шли курсанты летной школы, прилетевшие на похороны.

Шла за гробом сына Капустина и три ее дочери.

Медленно двигался грузовик, на котором высоко стоял гроб.

Венками из цветов и свежих веток был завален грузовик.

И ухал, ухал в уши Капустиной похоронный марш.

...В больнице был так называемый впускной день. На людях Мария совладала с собой, даже пыталась весело улыбаться, когда они с Леней, в накинутых казенных халатах, подходили к койке, на которой

лежал Плещеев. Из-за своего злосчастного падения он лежал в гипсе. Глубоко в подушки уходила его голова.

— Вот и я, — сказал Леня, стараясь говорить обыкновенным своим голосом. — Молока тебе принес, хочешь не хочешь — пей, доктор велел...

— Кто с тобой? — спросил Плещеев. — Кто с тобой пришел?

Мария, затаив дыхание, стиснула руками горло.

— Да понимаешь, — неестественно развязно сказал Леня, — вчера прихожу домой, открываю калитку...

— Маруся! — тихо позвал Плещеев. — Ты здесь?

— Да, — ответила Мария.

На них смотрели и больные и посетители. Только Леня отвернулся, он выкладывал из авоськи на тумбочку принесенные гостинцы.

— Здравствуй, Маруся, — тихо сказал Плещеев и протянул здоровую руку.

— Здравствуй, — сказала Мария.

— Сядь сюда.

Она села.

— Какой ты стал! — сказала она. — Красивый... молодой...

— А какая ты? — спросил Плещеев.

Мария потерянно оглянулась на Леню. Тот посмотрел на ее увядшее лицо и твердо сказал:

— Мама тоже очень красивая.

Вдалеке от новых домов, на дальнем конце поселка, на отшибе, окруженный пустырями, с довоен-

ных времен сохранился домишко, весь черный, боком осевший в землю. Там обитала Фрося.

Маленькие кривые окошки были завешаны, и по вечерам на занавесках двигались тени и виден был неровный, колеблющийся свет, и слышалось пение.

Открывалась скрипучая дверь, выходили люди. По двое, по трое расходились, тенями пересекая безлюдный пустырь.

В домишке оставалась одна Фрося. Она гасила и прятала тонкие, как спички, темные свечки, горевшие перед иконами. Прибирала в комнате... После этих молений она бывала в состоянии безмолвной исступленности. Глаза ее горели диковато.

Так она жила, пока однажды Капустина не обратилась к Сотникову:

— Александр Васильевич, помоги. Нужно одной работнице квартиру срочно. В новом доме.

Капустина была теперь секретарем парткома. Разговор происходил в парткоме, и там находился в то время старик Прохоров.

— Квартирами занимается жилищная комиссия, — сказал Сотников. — Они в этом деле больше хозяева, чем я.

— Комиссия отказалась включить ее в список, — сказал Прохоров. — Недопонимают товарищи, что тут надо в первую очередь.

— И обязательно в населенном доме, — сказала Капустина.

— Что за работница? — спросил Сотников.

— Иванова, фрезеровщица.

— Да вы ее, Александр Васильич, знаете, — сказал Прохоров. — Она на заводе давно. Помнится, вы

как-то к нам домой заходили и она пришла. Еще в землянке, помните?

Он спохватился, что как бы напоминает Сотникову, что прежде между ними существовали более простые и дружеские отношения, и замолчал. А Сотников сощурился, вспоминая, и вспомнил: как он сидел у Прохоровых, и на ступеньках показались аккуратно ступающие ноги, и какая-то женщина вошла и села в уголку, и он при ней сказал те слова, которые были ему вменены в преступление.

Потом он вспомнил, как, вернувшись из лагеря, обходил завод и в одном цехе женщина смотрела на него очень уж пронзительно, она показалась ему тогда знакомой. Это, должно быть, и есть та самая фрезеровщица Иванова.

— Почему же, — спросил Сотников, — ей нужно в первую очередь и обязательно в большом доме?

— Потому что у нее отсталый элемент молится, — объяснила Капустина.

— А вы что же, товарищ секретарь парткома, — удивился Сотников, — хотите им удобства создать? Чтоб в новом доме молились?

— В новом доме они не будут, — сказала Капустина. — Ни в коем случае. Шутите — кругом люди, а им церковное петь. Постесняются. Слышимость в новых домах — сами знаете. Это они к ней бегают, поскольку шито-крыто.

— Точно, — сказал Прохоров. — Им при слышимости неинтересно.

— Может, и интересно, — сказала Капустина, — да неловко перед общественностью.

— Как работает она? — спросил Сотников.

— Да работает старательно, — сказала Капустина. — Вот ведь какая проблема.

— Да, проблема, — вздохнул Сотников. — Много у нас проблем... Посидеть бы как-нибудь, поговорить обо всем по душам, откровенно...

Он чувствовал стыд, что незаслуженно сторонился Прохорова, и этими словами как бы просил старика забыть об этом и вернуться к прежним отношениям.

— А я вас, Александр Васильич, давно для разговора жду, — не сдержался Прохоров. — Сказали — постараетесь зайти, и нет вас и нет, а материалу поговорить накопилось — ой-ой!

— Я приду, Дмитрий Иваныч, — ответил Сотников, выслушав виновато. — Приду...

Леня уезжал в летное училище. На станции его провожали заводские ребята, родители и три сестры Капустины.

— И пожить не успели вместе, — говорила Мария мужу. — И привыкнуть он не успел ко мне.

— Он давно летать хотел, — сказал Плещеев. — Пусть летает.

Поезд тронулся. Еще раз Леня прощался со всеми из вагонного окна. Плещеев шагнул к вагону, протянул наугад руку — Леня взял ее, сжал... Мария подхватила мужа.

— До свиданья, отец! — сказал Леня.

— Летать тебе счастливо, сынок! — сказал Плещеев.

Поезд набирал скорость.

Молодежь расходилась. Плещеевы остались одни на платформе.

Из станционного буфета вышли Макухин и Ахрамович. Макухин засовывал в карман поллитровку.

— Святое семейство, — сказал он, заметив Плещеевых и остановившись. — Провожали гармониста в институт.

— Пойдем, — сказал Ахрамович. Он даже испугался.

— Ничего подобного, — сказал Макухин. — Самое время спрыснуть проводы. Пойдем пригласим — по случаю, в честь и так далее. — И свистнул: — Эй!..

И вдруг робкий, спокойный гигант Ахрамович взъярился.

— Ты!.. — сказал он, хватая Макухина за шиворот. — Оставь его, гад, слышишь, оставь его, оставь его, а то я тебя башкой об рельсы — пыль пойдет!..

И зашагал прочь, почти неся Макухина, как котенка.

Мария обернулась, увидела их и вздрогнула.

— Ты что? — спросил Плещеев.

— Старых дружков твоих увидела.

— Не бойся, — сказал он. — Ничего теперь не бойся.

Некоторое время они шли молча.

— Я перед тобой так много виновата, — сказала Мария, — так много.

— Нет, Маруся, — сказал Плещеев. — Это я виноват. Я просто дождаться не мог, когда ты вернешься, чтобы сказать тебе, что это моя во всем вина. Во всем... Просто боялся умереть, не сказав.

Опять шли молча, а потом Мария сказала:

— И как ее, жизнь, прожить, как сорганизовать, чтоб шла она по ровной дорожке от начала до конца, нигде не споткнувшись?..

Мошкин ушел на пенсию и жил в деревне, в небольшом доме. На крыше торчала антенна, у калитки висел почтовый ящик, а Мошкин во дворе возился с цветами, полол и поливал, как заправский пенсионер. Но при этом мрачное и боевое выражение его лица как бы говорило: «Я делал что мог, я поступал единственно правильно, вы меня не оценили — ну что ж, нате вам, я поливаю цветы, вам же хуже!»

К калитке подъехал на велосипеде пожилой мужчина — тот, что когда-то дал Шалагину лес для стройки.

— Доброе утро, Пантелеймон Петрович.

— Что скажешь, председатель? — спросил Мошкин, игнорируя приветствие.

— Прямо сказать, опять с просьбой к вам.

— Доклад вам сделать? О чем?

— Да нет, не доклад на этот раз, — деликатно ответил председатель. — Понимаете, какое дело, вы, конечно, человек в годах, и на персональной пенсии, и безусловно имеете право на покой, но мы сейчас все решительно силы мобилизуем на уборку, если б вы были так добры...

— Ну а как же! — сказал Мошкин. — Приду и

помогу, не беспокойся. Где мобилизация, там Мошкин всегда, будь уверен. По первому сигналу в битву! Какой может быть покой! Силенка еще есть, вот попробуй. — Он дал председателю пощупать бицепс. Председатель пощупал и пощелкал языком.

— Так на второй бригаде сбор, пожалуйста, — сказал он, уезжая. Мошкин опрокинул лейку и ушел в дом.

Он шел среди полей и увидел Фросю. С чемоданом на плече она шла ему навстречу по пыльной дороге. Оба остановились.

— Здравствуйте, Пантелеймон Петрович, — сказала Фрося вежливо.

— Ты откуда здесь? — спросил Мошкин.

— В совхоз наниматься приехала, — сказала Фрося и вздохнула. — Ушла я с завода-то.

— Что так?

— Да что, Пантелеймон Петрович, — сказала Фрося. — Сами знаете, жила я на краю поселка, на свежем воздухе. Лес в двух шагах. А меня выселили в новый дом, в самом центре. Сажа, копоть. Мне здоровье не позволяет. А вы как живете?

— Вот, — сказал Мошкин, — урожай убирать иду.

— Зачем вам урожай убирать, — изумилась Фрося, — такому человеку выдающемуся...

— Надо убирать! — сказал Мошкин. — С людьми быть надо! Знать, чем они дышат! Все течения жизни улавливать! Призовут меня снова к деятельности, — чтоб был я готов!

— Ясно, — протяжно сказала Фрося.

— Это ты, понимаешь, на религию всю жизнь просадила, противно смотреть...

— Ну что ж, — сказала Фрося. — И я у господа как бы в запасе. Так я себя понимаю. Придет мой час — и позовет меня господь во славу его на сподвижничество. Прощайте, Пантелеймон Петрович.

Поклонилась и пошла. Облачко пыли тянулось вслед за ней по дороге.

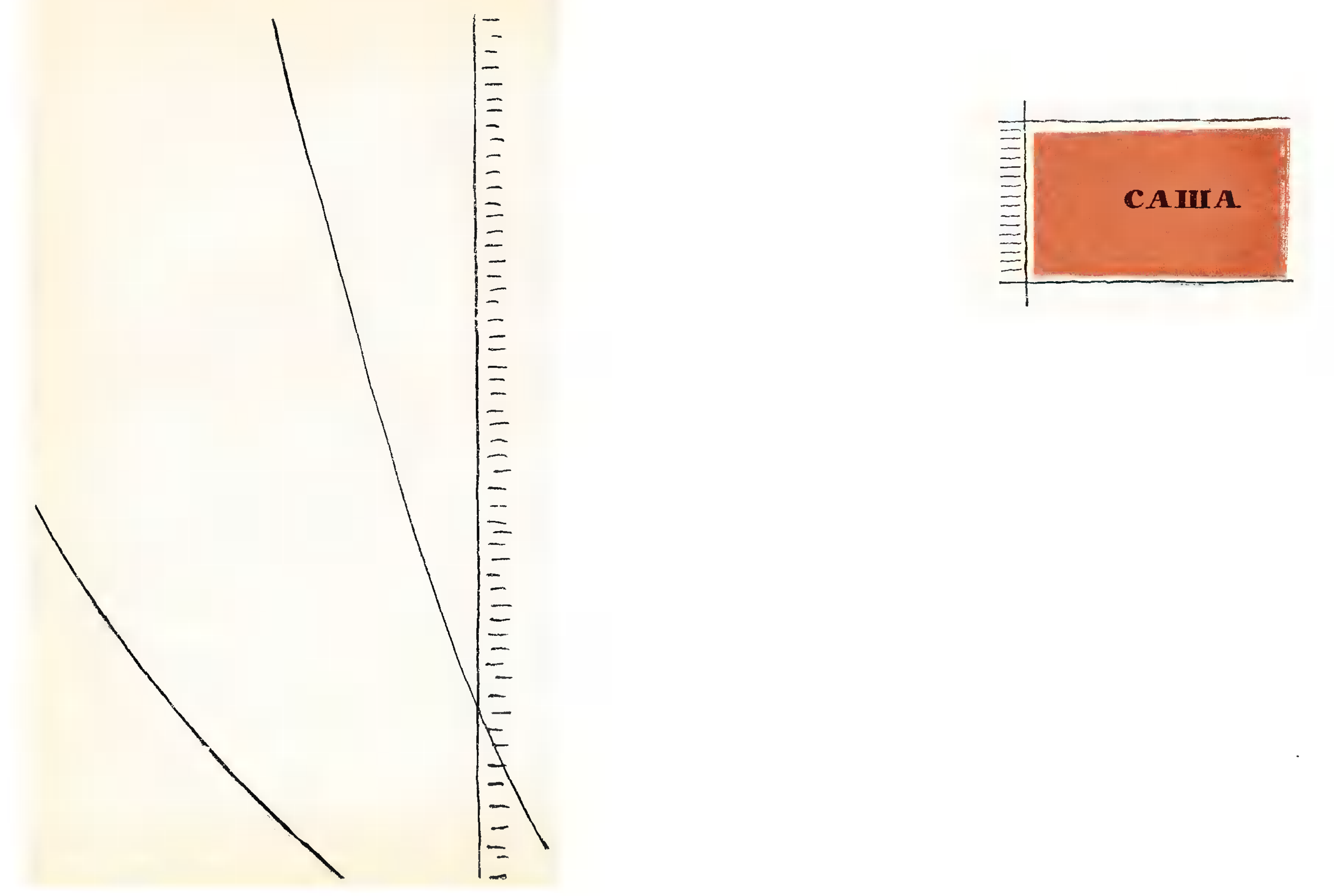
Утром взмывает в небо могучий гудок. Долго плывет над широкой рекой и медленно смолкает, словно спускаясь на землю...

Он смолк, и новый стал слышен звук, идущий с высоты. Шалагин в это время подходил к проходной, пропуская вперед Плещеева. Нахмурившись, Шалагин приостановился невольно, глянул вверх. И Плещеев поднял голову, черные очки его сверкнули на солнце.

В небе быстро вытягивались три белые полосы, венчанные блестящими черточками реактивных самолетов.

Шалагин улыбнулся и вошел в проходную в бесконечном потоке других людей...

1964 г.


САША



аленький мальчик в валенках, в шапке-ушанке, за спиной ранец, уходит зимней дорогой за околицу деревни, шагая с детским трудолюбием, а ветер метет снег по дороге, и чуть-чуть светлеет утреннее небо над лесом.

Глядя на эту спину, выпрямленную ранцем, и на эти усердные ноги в валенках, мы ждем, что́ же случится с этим маленьким мальчиком, — а он ходит себе и ходит по той же дороге, и в весеннюю оттепель ходит, и осенью, но он всё выше и выше ростом, и тесемки ушанки завязаны уже не под подбо-

родком, а на макушке, и вместо валенок на ногах сапоги, и вместо ранца за плечами — полевая сумка в руке, и вместо пальтишка на нем добротный мужской полушубок.

Повстречается ему редкая на этом проселке машина — мальчик остановится, пропустит ее мимо себя и долго с интересом смотрит, как она ныряет на ухабах, удаляясь.

Дом, в котором жил мальчик со своей матерью, стоял на краю деревни. С крыльца видна была дорога мимо леса, по крутому холму и дальше, а вдали — большое село с крупными домами, церковью без креста и хорошим кирпичным зданием школы, в которую ходил подрастающий мальчик, пока не подрос окончательно и не превратился в крепкого, здорового молодого человека с ясным, открытым, симпатичным, склонным к дружелюбной улыбке лицом.

С чемоданом в руке молодой человек Саша Агафонов стоял на крыльце и прощался со своей матерью.

— Смотри же пиши, — говорила мать, — слышишь? Всё пиши, ничего не скрывай, что с тобой случится!

— Ну что со мной, мама, может случиться, — отвечал Саша, — чтоб я от вас скрывал!

— Мало ли что. Ребята агитировать станут выпивать... Девчата в городе — ой, бедовые...

— Ну хватит, мама, хватит, — сказал Саша.

— Здоровье свое береги. Когда холодно, свитер поддевай, не поддевши не выходи. И не кури! Очень

вредно. Смотри-ка, Игнатий Михалыч до чего докурился — порок сердца доктора признали!

— Игнатию Михалычу, мама, шестьдесят лет. Там от чего хотите порок сердца мог образоваться, а не только от куренья.

— Ты у меня парень ничего, — сказала мать. — И старательный, и честный, — и всегда, Саша, будь честным! Чтоб чистая твоя жизнь была, это самое главное, слышишь?

— Не беспокойтесь, мама, — сказал Саша.

— Ну, в добрый час! — сказала мать. — Родной ты мой! Голубчик мой единственный! Счастливо тебе!

Поцеловались. Саша вскинул чемодан на плечо.

— Ох, — говорила мать, не в силах оторвать от него руки, — как хочу я, Саша, чтоб всё у тебя было хорошо!

— Всё, мама, будет хорошо!

— Чтоб всё у тебя было — ну просто как нельзя лучше!

— Всё так и будет. Как нельзя лучше. Спасибо вам за всё!

С этими словами Саша сошел с крыльца и зашагал прочь от родного дома, и уже он не слышит голоса, договаривающего ему вдогонку:

— Самое главное, слышишь, самое главное — честным всегда будь, честным!

Оглянулся Саша, кивнул, прощаясь еще раз.

Всё слабей голос матери, всё дальше она от сына, только отдельные слова доносятся:

— Главное... честным... чистым...

Уже не видно сына, скрылся он за крутым хол-

мом, а мать всё стоит на крыльце, наставляя его на путь истинный, на путь по просторам нашей земли, таким тихим здесь, около этой деревушки.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Завод строился неподалеку от города — бесчисленные стрелы кранов, холмы песка и щебня, громадное скопление стройматериалов и техники, времянок, котлованов и почти законченных зданий. Наряду с производственными корпусами воздвигались жилые дома, ряды жилых домов, составленных близко, как пчелиные соты, и люди, работавшие здесь, казались издали муравьями на фоне колоссального развороченного муравейника, вблизи же это были богатыри, великаны, управляющие могучими машинами.

И богатырскими, великанскими выглядели руки Саши Агафонова, когда он вел по участку свой грузовик с прицепом.

— Агафонов! — заорали с лесов. — Эй, Агафонов! Сашка!

Саша приостановился, — что́ там ему кричат.

— После смены в постройком приходи, ордера будут давать! — прокричал с лесов молодой строитель. — Ордера на жилплощадь!

Саша победно помахал рукой и поехал дальше.

Он получил ключ и этим ключом отпер дверь в коридоре, по обе стороны которого были такие же двери, и вошел в свою комнату.

Дом был новый, окно еще заляпано известью. Он его открыл и увидел всю стройку, и дали, и закат в сияющих облаках.

По далекому, игрушечному мосту шел игрушечный поезд, путь его был отмечен комочками дыма, вереницей круглых комочков дыма.

Низко пролетел ТУ-104, набирая высоту.

Саша загляделся на это всё, а потом присел на подоконник — больше не на что было — и при свете заката на блокнотном листке стал писать письмо.

«Здравствуйте, мама! — написал он. — Как вы поживаете? А я получил комнату! Я, правда, мечтал поездить всюду, а не сидеть на одном месте, но свою комнату иметь тоже очень хорошо»...

В жилищную контору пришел Саша прописываться, и другие, получившие ордера в новый дом, пришли прописываться, так что у стола паспортистки образовалась порядочная очередь. В самом хвосте стояли две незнакомые Саше девушки, одна некрасивая, с виду постарше, погрубей и посуровей, а другая очень юная, хрупкая и миловидная, с возбужденно блестящими глазами, пританцовывающая на каблучках.

— Вы последняя? — спросил у нее Саша.

— Я, я последняя! — отозвалась она с какой-то веселой отчаянностью, удивившей его. — Самая, самая последняя! — и с нервным смешком оглянулась на некрасивую девушку, а та осмотрела Сашу подозрительным мрачным взглядом.

Саша скромно стал за ними и слушал их негромкий разговор.

— Если бы мамочка всё это видела! — говорила миловидная. — Что я так измучилась физически и морально! Что мне негде приклонить голову!

И говоря это, она пританцовывала, и глаза у нее были веселые и бесстрашные, и в то же время слезы блестели на глазах.

— Ни черта и сегодня не получится, — мрачно сказала некрасивая, — будь готова.

— Ну не говори, не каркай, не расстраивай меня заранее! — тихонько воскликнула миловидная.— Я уж и так расстроена, что больше некуда! — Она улыбнулась Саше. — Молодой человек смотрит и думает — чем это она расстроена? Не везет мне в жизни, вот чем.

— А что такое? — спросил Саша.

— Ну боже мой, — сказала миловидная. — Ну попала в заколдованный круг. Я приезжая, понимаете? Захотелось вырваться, понимаете? Из-под вечного надзора. На простор...

Саша кивнул участливо.

— Ехала, думала — устроюсь на работу, повидаю новые места, более прогрессивные, более перспективные... Сама себе буду голова, всё будет великолепно...

— Абсолютно понимаю! — сказал Саша. — Вы это выразили замечательно! Как будто вы мне родная сестра и подслушали мои собственные мысли.

— Да что вы говорите! — радостно сказала миловидная.

— Но что значит не повезло, — спросил Саша,— неужели работы не нашли?

— Работу-то нашла.

— Так в чем же дело?

— В заколдованном круге, — вздохнула миловидная.

— То есть?

— Да что вы дурачком прикидываетесь! — сказала некрасивая. — Чтобы устроиться на работу, надо иметь постоянную прописку. А чтоб получить постоянную прописку, надо справку с места работы. Он не знает, действительно!

— Ничего подобного! — сказал Саша. — У нас на строительстве, например, — я знаю точно: если нужен человек, его оформляют и тут же сразу прописывают.

— На строительстве! — сказала некрасивая. — Вы считаете, она нужна на строительстве? Да вы на нее посмотрите, какие у нее силенки! Куда ей на строительство!

— Каждому, знаете, свое, — сказала миловидная, — правда же? Я в городе очень подходящее место нашла. Секретарем в одно учреждение. У одного очень симпатичного дядечки. Но там не берут без постоянной прописки.

И она смахнула слезинку и выбила дробь каблучком.

— Я бы ее у себя прописала... — сказала некрасивая.

— Мы с ней учились вместе, — объяснила миловидная и обняла ее.

— ...так сама в общежитии живу!

— Ну ничего! — бодро сказала миловидная. — Сейчас еще одну пробу сделаем! Не может быть, чтоб так-таки ничего не получилось! Кто хочет, тот добьется! — Она задиристо вскинула свою хорошенькую головку.

Очередь дошла до них.

— Давайте! — сказала паспортистка, протягивая руку за документами. — А, это опять вы!

— Меня Николаевы у себя прописывают, — сказала миловидная.

— Не имею права, — сказала паспортистка. — У Николаевых в квартире тридцать два метра. Живут четыре человека. Четырежда девять сколько будет?

— Я их родственница.

— Четырежды девять тридцать шесть. А в квартире тридцать два. А почему у вас другая фамилия, если вы родственница? Заберите ваше заявление.

— Вот бюрократка! — возмутилась некрасивая.

— Ей же на работу не поступить! — возмутился Саша.

— Не морочьте голову, граждане, — сказала паспортистка. — Пусть поступает на строительство и оформляется в общежитие.

— Но если у нее другие планы?! — сказал Саша.

— Четырежды девять тридцать шесть, — сказала паспортистка. — Следующий.

— Но я правда же родственница, — не отставала миловидная, — хоть и другая фамилия!

— Ничего не могу сделать, — сказала паспортистка, беря документы у Саши. — Если бы вы замуж вышли в семью Николаевых, тогда мог бы быть разговор. А сейчас не может быть разговора.

— Счастливец! — сказала миловидная, глядя на Сашины документы. — С ордером.

— Сколько метров? — спросила некрасивая.

— Восемнадцать, — ответил Саша, стесняясь своего счастья.

— Дважды девять — восемнадцать, — сказала некрасивая задумчиво.

Они вышли на улицу втроем. Шел веселый, сквозь солнце, проливной дождь, и они стали у стены дома переждать его.

— Вот в средние века жизнь была! — сказала миловидная. — Сплошные рыцари. Бросались на помощь женщине, отталкивая друг друга.

— Ну а что, я тоже с удовольствием. — сказал Саша. — Только опять же не пропишут, скажут — мы не родственники.

— А разве долго стать родственником? — спросила некрасивая.

— Как это? — спросил Саша.

— Фиктивный брак, — сказала некрасивая.

— Какой брак?

— Фиктивный, ну!

— Просто понарошку, — объяснила миловидная. — Регистрируются и считаются мужем и женой. Только считаются, понимаете? А то вы, может быть, что-то такое уже подумали.

— Нет, — сказал Саша, — я ничего не подумал.

— И не думайте, и не думайте! — сказали обе.

— Честное слово, не думаю, — сказал Саша.

— Горько! — кричал пожилой рабочий, единственный пожилой человек среди тех, кто пришел поздравить Сашу и Лизу — так звали миловидную девушку, с которой Саша сочетался законным браком.

— Горько! — кричал пожилой рабочий изо всех сил.

Поздравители пришли со своей выпивкой, и каждый принес рюмку, или стопку, или стакан, чтобы было из чего пить, и расселись кто на чем, а большинство стояло, потому что в комнате было еще очень мало мебели.

— Горько! — кричали все, выжидательно подняв свои чарки и с негодованием глядя на Сашу и Лизу, которые сидели рядом, опустив глаза.

— Не хотят люди целоваться публично, — брезгливо сказала некрасивая Оля, Лизина подруга, — какого черта их заставлять?!

— И действительно, — сказал молодой строитель, Сашин товарищ. — старые обычаи уходят в прошлое, к чему они нам? Просто выпьем за их счастье, и всё.

И Саша с Лизой смущенно выпили по глоточку за свое счастье, перечокавшись со всеми, а друг с дружкой не рискнув чокнуться.

А потом поздравители ушли, и комната опустела, осталось в ней только много пустых бутылок, которые Оля хозяйственно составила в угол.

— Это завтра сдадите,— сказала она.—Ну, пока.

— Спасибо тебе за всё! — сказала Лиза.

Они поцеловались и перешепнулись, и Оля ушла, высокомерно взглянув на Сашу.

Лиза взяла ширму, стоявшую у стены в сложен-

ном виде, и стала устанавливать ее поперек комнаты.

— Помоги же мне, — сказала она.

Саша помог.

— Вот так, — сказала Лиза, когда они разгородили комнату.

— Вот так, — сказал Саша.

По одну сторону ширмы он раздвинул кресло-кровать, а по другую устроил постель на двух чемоданах.

— Надо тебе поскорей что-нибудь купить, — сказала Лиза. — Хоть раскладушку.

— Вот будет получка, куплю, — сказал Саша.

— Сколько эта свадьба стоила, прямо ужас, — сказала Лиза. — Лучше бы раскладушку купили.

И они стали укладываться, разделенные ширмой.

— Ты только не вздумай что-нибудь забрать себе в голову, — сказала Лиза.

— *Можешь быть спокойна, — гордо сказал Саша.*

Немного погодя она сказала:

— Без большой любви нельзя.

— Правильно, — сказал Саша. — Нельзя.

Он лежал с открытыми глазами, боясь повернуться на своих чемоданах, из которых один был короче и выше другого.

И Лиза лежала с открытыми глазами, стараясь не двигаться и прислушиваясь. Но только вздохи слышались иногда из-за ширмы.

Уже светало, когда опять раздался Лизин голос:

— Ты хороший человек.

— Да, я хороший, — согласился Саша. — И это

в конечном счете, гораздо приятней, чем быть плохим. И даже легче.

— Неужели легче? — спросила она сонно.

— Я думаю — да, — сказал он.

На это она ничего не ответила, потому что спала.

И утром спала, когда он, перед уходом на работу, жарил себе яичницу в общей кухне.

Все жильцы высыпали в кухню посмотреть на молодожена и определить его самочувствие. И они многозначительно переглядывались по поводу яичницы, которую он жарил, а потом ел в одиночестве за кухонным столиком.

— Что ж это она, — сказал, не вытерпев, тот пожилой сосед, что вчера всё кричал «горько», — не может тебе яичницу зажарить, как порядочная жена?

— Какая разница, — сказал Саша, — кто зажарит.

— Вот так разбалуешь ее с самого начала, — сказал пожилой, — потом пожалеешь.

— Ничего! — сказал Саша.

Он позавтракал и постучал в свою дверь:

— Можно?

— Одну минуточку! — ответила Лиза.

Она проворно соскочила с постели, сунула ноги в туфли, надела халатик.

— Можно! Заходи!

— Слушай, — сказал Саша, войдя и закрыв дверь. — Ты иногда делай вид, ладно, что всё-таки мы муж и жена. А то соседи догадаются.

— Очень мне нужны соседи, — сказала Лиза, дернув плечиком. — Чихала я на соседей!

...Был вечер. Саша был дома и гладил рубашку. Раздался звонок, он пошел открыть — это пришла Лиза.

— А, здоро́во! — сказал он. — Ты где пропадала? Я тебя уже дня четыре не видел.

— Я была в командировке, — сказала она с гордостью.

В комнате она положила портфельчик и сняла пальто, а Саша вернулся к своему утюгу.

— Дай я, — сказала Лиза, взяла у него утюг и стала гладить его рубашку. — Куда ты собрался?

— Путевку в дом отдыха дали. Никогда не бывал в домах отдыха, посмотрю, что это такое.

— Где вообще мы с тобой были, — сказала Лиза, — что мы видели? Ну ладно, еще вся жизнь впереди!

— Как работается тебе? — спросил Саша.

— Как в сказке! — ответила Лиза. — Начальник такой чудный, вежливый дядечка, и вот видишь — в командировку послали, доверяют, и люди кругом интересные...

— Ну и отлично! — сказал он братски. — Очень рад за тебя!

— Особенно один там есть, — сказала Лиза, — похож на Фиделя Кастро.

Она сложила рубашку и сказала со вздохом:

— Совершенно как Фидель Кастро, только без бороды...

Когда Саша вернулся из дома отдыха, была ранняя весна, и на привокзальной улице старуха продавала подснежники.

— Купите цветочков, молодой человек, — сказала она Саше.

— А почему бы и нет? — сказал Саша. — Дайте парочку.

И купил два пучка подснежников.

— Для молодой супруги, — спросила старуха, — или для невесты?

— И сам не знаю, — засмеялся Саша.

С чемоданом и с цветами он ввалился домой.

В его комнате за столом сидел незнакомый мужчина огромного роста, заметного даже в сидячем положении, с копной волос, падающих на глаза, перед ним лежал журнал с кроссвордом, а Лиза шла навстречу Саше необычно тихая, серьезная и торжественная.

— Здравствуй, — сказал Саша.

— Здравствуй, — сказала она. — Познакомься.

Мужчина сторвался от кроссворда и протянул Саше руку:

— Василий.

— Александр, — сказал Саша, и мужчина снова погрузился в свое занятие.

Комната стала тоже незнакомой — в ней прибавилось мебели, на спинке нового стула висел громадный мужской пиджак, и с нового шкафчика Саше улыбалась Нефертити.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказала Лиза.

— Это кто? — спросил потихоньку Саша.

— Это Вася. Я вышла замуж.

— Замуж?..

— Так я это называю! — сказала она, вспыхнув. — Кинь в меня камень, если можешь! Я его люблю!

— Да люби, пожалуйста, — сказал Саша, — какой камень?

Вася не обращал на них ни малейшего внимания.

— Правда, — спросила она нежно, — он похож на Фиделя Кастро?

— Нет, — откровенно ответил Саша, — не похож.

— Неправда! — сказала Лиза. — Как две капли воды!

— А он что, — спросил Саша, — он тут живет?

— Ты понимаешь, — сказала она, — у него нет площади. У него три тетки в комнате, мы не можем там жить.

— Ясно, — сказал Саша задумчиво. — Но здесь мы тоже не можем жить.

— Конечно, нет! — сказала Лиза.

— Нельзя ли тише? — спросил Вася, поднимая голову.

— Выйдем, — сказала Лиза шепотом. — Мы ему мешаем.

И они продолжили разговор на лестнице — единственное место, где в этот час можно было без ежеминутной помехи обсудить свои дела.

— Что же теперь делать будем? — спросил Саша.

— Мы должны развестись, — сказала Лиза.

— Это правильно, — согласился Саша, — а то ерунда какая-то получается.

— И разделить площадь.

— Какую площадь?

— Ну — комнату, эту... разменять.

— Как разменять?

— Очень просто, — сказала Лиза. — Ты подаешь на развод, нам дадут из суда справку, и мы начнем меняться. На две комнаты — одну тебе, одну нам. Конечно, нечего рассчитывать, что это будут великолепные комнаты, наверное даже будет дрянь какая-нибудь, но когда любишь — какое это имеет значение? Дрянь так дрянь, мне абсолютно всё равно, лишь бы с Васей!

— Неужели так любишь?.. Этого?..

— Больше жизни!

— Хорошо, — сказал Саша, — будешь с Васей.

— Я пойду, — сказала Лиза, — а то он рассердится, что меня долго нет. А ты на меня не сердишься?

— Нет. Не сержусь.

— Ты его не стесняйся, он чудный. Пока все эти процедуры будут длиться, надо же просуществовать мирно и культурно, правда же?

— Правда.

— Ты тоже чудный! — сказала Лиза. — Спасибо тебе! Ты почти такой же чудный, как он!

— Ну, вот и чудно, — рассеянно сказал Саша, — что все мы такие чудные...

Она убежала, счастливая, а он остался в раздумье на лестничной площадке у двери своей квартиры.

Его товарищи, среди которых был и тот молодой строитель, и тот пожилой сосед, и другие, — горячо обсуждали его историю, собравшись вокруг него на участке во время перерыва.

— Слушай, — говорил один, — да гони ты ее в шею, чего ты на нее смотришь!

— Сказанул, — возразил другой, — как это он выгонит жену?

— Да какая она ему жена! — воскликнул первый. — Брак-то, оказывается, фиктивный, ты же слышал! Не брак, а чистой воды донкихотство!

— Недаром я загса всегда как огня боялся, — сказал третий. — Одни неприятности от него. По судам затаскают.

— Чего ради ты эту кашу заварил? — спросил пожилой.

— Я помочь ей хотел, — ответил Саша.

— Смотреть надо, — сказал пожилой, — кому помогаешь. Хоть бы посоветовался.

— Почему это, — спросил Саша, — когда хочешь человеку хорошее сделать, надо сначала идти советоваться? Я хотел, чтоб она устроилась.

— Вот она и устроилась, — сказал третий.

— Да, — сказал пожилой, — вот это подсиропила так подсиропила!

— Она полюбила! — сказал Саша. — Она его любит больше жизни!

— Ой, аферистка! — сказал первый и даже застонал.

— Да в конце концов! — сказал Саша. — Я когда уезжал из дому, я о чем мечтал? Я мечтал и туда поехать, и сюда. Думал — весь Советский Союз повидаю, а там, может, и весь мир, почему бы нет?.. А вместо того проторчал в одном городе почти три года. Мебель завел, посуду... Так что я, в сущности, еще должен сказать ей спасибо.

— Ну, знаешь! — сказали они и разошлись, не стали с ним больше разговаривать.

...И он один стоял у почтовой конторки среди вокзальной толчеи и писал письмо.

«Здравствуйте, мама! — написал он. — Как вы поживаете? А я надумал всё же поездить, посмотреть, как в других местах люди живут...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ташкент — удивительный город, где Средняя Азия смешалась с Западом и средневековье — с эпохой индустриализации. Там на окраинах, по берегам арыков, в которых с пронзительными криками купаются смуглые мальчишки, идет такое же строительство, как в любом большом нашем городе, будь то Киев или Иркутск, Псков или Караганда. С балконов пятиэтажных домов свешиваются пестрые халаты. А рядом солидные мужи руководящего вида, с толстыми кожаными портфелями, идут на работу и с работы, стучат машинки из открытых окон учреждений, в витринах выставлены галстуки, акваланги, глобусы, телевизоры, трикотаж, и навьюченного ослика обгоняет бесшумно скользящий сверкающий «ЗИЛ».

С чемоданом в руке Саша брел по улицам палимого солнцем Ташкента, на всё дивясь и наслаждаясь невиданными красотами. Два узбека в халатах и тюбетейках вышли к нему из двора, образованного новыми пятиэтажными домами, и нежно взяли его под руки.

— Дорогой гость, — сказал один, — добро пожаловать!

— Дорогой прохожий, — сказал второй, — просим на свадьбу! Заходи, пожалуйста!

— Да я только что приехал, — сказал Саша, удивленный.

— Ничего! — ласково ответили узбеки. — Это ничего! Просим тебя! Пожалуйста!

И Саша увидел, что в глубине двора выстроилась целая шеренга мужчин, — видимо, приглашенных так же, как и он, у одного в руках даже была авоська с продуктами, чего этот человек очень стеснялся.

И Саша стал со своим чемоданом в эту шеренгу и участвовал в шумной встрече новобрачных, которые приехали из загса в машине; жених был в пиджаке, галстуке и тюбетейке, а невеста в модном платье, фате и туфлях на шпильках.

А затем все повалили вслед за новобрачными в дом, и на Сашу надели при входе, как и на других приглашенных, красивый халат, и Саша не противился, решив исполнять всё, что от него потребуется на этом празднестве.

Все три квартиры в первом этаже были открыты настежь. В центральной, самой большой квартире разостлан на полу ковер, набросаны подушки, и на них сидели бесчисленные гости, говорившие на непонятном Саше языке. И Сашу усадили, подвинувшись, и он долго усаживался на подушке, устраивая поудобней свои ноги и пóлы халата.

Во всех трех квартирах пировали, пели песни и танцевали, и среди узбекских плясок встали ново-

брачные и, снисходительно улыбаясь, протанцевали чарльстон.

— Ешь! — сказал по-русски молодой чернявый парень, тоже в халате и тюбетейке. — Ты чего не ешь?

Он налил вина Саше и себе и присел рядом:

— За твое здоровье!

— А кто жених, кто невеста, — спросил Саша, — чем занимаются?

— А почем я знаю, — ответил парень, — я их первый раз вижу. Ешь!

— Вас тоже как прохожего?..

— Ну да, — сказал парень. — Тут обычай такой. Ты имей в виду. Ешь, не стесняйся, а то хозяев обидишь!

— Повезло мне, — сказал Саша. — Только сегодня приехал, и сразу на такое попал.

— Откуда приехал? — спросил парень.

— Из Крыма, санаторий там в горах строили... Шофёр я.

— Шофёр? — заинтересовался парень.

— Шофёр.

— Я тоже, — сказал парень.

— Правда?

— Ага. На дальних рейсах. Будем знакомы.

И они пожали друг другу руки:

— Александр.

— Виктор.

— И как, — спросил Саша, — ничего, доволен работой?

— А чего, жить можно, — ответил Виктор. — Мы продукты возим в глубинку. Снабжаем людей, дело

хорошее. Приедешь в какой-нибудь далекий кишлак, все тебе рады, шутят с тобой, угощают, приятно.

— Интересная страна, — сказал Саша.

— Страна замечательная, — подтвердил Виктор. — И с перспективами, и с такой историей, что ух ты. Я-то, наверно, в шофёрах побуду, да в историю уйду.

— Куда?

— В историческую науку. Историком хочу быть. Я тут, брат, раскопки видел...

Длилась шумная свадьба, а они разговаривали.

— А у вас там люди не требуются? — спросил Саша.

— Ты насчет работы?

— Хотел бы. Первый класс у меня.

— Ну что ж, — сказал Виктор. — Вот погуляем, а потом давай к нам сходим, устрою тебя.

Пир достиг высшей своей точки. Встал один из узбеков и, потребовав тишины, сказал:

— Внимание, друзья, внимание! Среди нас присутствуют русские гости, предоставим им слово! Дорогие гости, скажите нам что-нибудь! — и сделал приглашающий жест, обращаясь к Саше и Виктору.

— Ты хочешь сказать что-нибудь? — спросил Виктор у Саши.

— Я?.. — спросил Саша, растерявшись.

Виктор поднялся с бокалом в руке.

— Дорогие друзья! — начал он вдохновенно. — Мы с моим товарищем счастливы выпить за дорогую невесту и дорогого жениха! Мы их поздравляем

от всей души и желаем им всего, чего можно пожелать при таких обстоятельствах. Ура!

— Ура! — закричали все.

— Мы с моим другом, — продолжал Виктор, — с моим другом Александром... Как твоя фамилия? — спросил он шепотом, наклонившись к Саше.

— Агафонов, — шепотом ответил Саша.

— Как?..

— Ага-фо-нов!

— Мы с моим другом Александром Агафоновым, — продолжал Виктор, — счастливы, что имеем возможность принести наши поздравления. Нам у вас тут очень хорошо, верно, Саша?

— Верно! — подтвердил Саша.

— Эту прекрасную свадьбу мы будем вспоминать в наших суровых трудовых буднях. Вам, может быть, интересно узнать, кто мы такие. Мы — шофёры, я и мой старинный друг Саша Агафонов. Товарищи, кто есть шофёр? Шофёр в наше время, я считаю, первый человек! Еще только завоевывается космос. И не во всякую погоду полетит самолет. Да еще для посадки подай ему аэродром, где попало не сядет... Тогда как мы — и по дорогам, и по бездорожью, по всей стране, летом и зимой!

Гости слушали с сочувственным вниманием.

— Жизнь наша шофёрская! — продолжал Виктор. — Чего только мы не испытали, сколько пережито! Спросите нас о туманах на крымских перевалах! Спросите, как мы пересекаем знойные степи Узбекистана, где под песками покоятся города древних цивилизаций! Спросите, как мы с ним, с Сашкой, замерзали вместе ночью, в буран! — воскликнул он, обняв Сашу за плечи. — Эх, жизнь наша! Туда и сюда бросает нас, и вот на эту свадьбу бросила, спасибо ей, где нам так хорошо!

Гости дружно захлопали.

— Товарищи! — крикнул Виктор, подняв бокал. — Выпьем за дружбу народов!

Аплодисменты усилились. Грянула музыка. Всё потонуло в праздничном шуме.

...Кончился пир. Гости расходились. Саша стал было стаскивать с себя хозяйский халат. Но подошла старуха и сказала:

— Дорогой гость, нет, пожалуйста, прими это в подарок, не обижай нас.

— То есть как же? — спросил Саша.

— На память, — сказала старуха. — На дружбу.

— Бери, бери, — сказал Виктор. — Так полагается.

Другие две старухи подошли и сунули им по блюду, полному плова и всяких лакомств.

— Это тоже полагается? — спросил Саша.

— Полагается, — подтвердили старухи.

В халатах, с блюдами в руках, Саша и Виктор шли по ночной улице. У Саши кроме блюда был еще его чемодан.

— Ну и что с этим делать? — спросил он.

— Отдадим кому-нибудь, кому пригодится, — ответил Виктор.

Но не было никого на улицах, кому бы это могло пригодиться, — вообще никого не было.

У темных ворот стояли пятеро симпатичных русских парней и озабоченно всматривались в даль улицы.

— Идет! — сказал один.

— Это не он, — сказал другой. — Узбеки какие-то идут.

— Я же вам говорил, что он не придет, — сказал третий.

— Ах, паразит! — сказал четвертый. — Два часа прождали, хватит, ребята!

— Ну подождем еще четверть часика! — взмолился первый.

— Нет, Толик, я больше не могу, — сказал пятый, взглянув на часы. — Меня дома ждут.

— Здорóво, ребята! — панибратски сказал Виктор, подойдя к ним. — Забирайте это себе, а?

Парни молчали.

— Это нам на свадьбе дали, — пояснил Виктор. — А нам куда же? Мы вот до этих пор сытые.

— Мне и самому-то деваться еще некуда, не то что с этим хозяйством, — доверительно добавил Саша. — А ему в общежитие — бог знает куда. Грех же добро выкидывать.

— Они считают, понимаешь, что мы голодные, — сказал один из парней, — суют объедки...

— Почему объедки! — возмутился Саша. — Очень хорошая пища: рис и баранина. А тут вот фрукты сушеные...

— Сам ты шпрот сушеный! — сказал Толик и ногой выбил блюдо из Сашиных рук. Блюдо со звоном разлетелось на куски.

— Они считают, мы нищие! — душераздирающим голосом крикнул Толик, бросаясь на Сашу. Саша дал ему чемоданом. Другие парни бросились Толику на помощь.

Еще одно блюдо зазвенело, разбиваясь: это Виктор кинул свою ношу. Он и халат с себя сорвал, прежде чем ринуться в свалку. Он действовал приемами самбо, и парням пришлось на него переключиться, а Саша тем временем тоже избавился от халата и принял участие в стычке.

Вскоре парни, посрамленные, отступили во мрак подворотни, а Саша и Виктор, подобрав с тротуара свои халаты и тюбетейки, победно удалились по улице. Фонари мирно им светили, и только черепки блюд напоминали о происшедшей баталии...

Саша сидел в общежитии, где он жил теперь с Виктором и другими шофёрами, и писал письмо.

На кровати лежал один из шофёров и, наигрывая на гитаре, пел песню о трудных дорогах, шофёрской неутомимости и шофёрской рисковой судьбе.

Вошел Виктор в измазанной спецовке и, подсвистывая песне, стал мыться над раковиной, находившейся здесь же в тамбуре.

— Что это ты пишешь? — спросил он у Саши, вытираясь.

— Маме пишу, — ответил Саша. — Про тебя как раз пишу.

— Что ж ты про меня пишешь?

— Написал, что ты лучший друг на свете.

— Ну да.

— Что ничего не боишься.

— Ну, это ты слишком, — сказал Виктор с удовольствием.

— Вот я как написал: «Он не боится ни трудных рейсов, ни взысканий, ни пьяных хулиганов».

— Что ж, — сказал Виктор. — Оно верно, пожалуй.

Еще в начале разговора вошел малорослый неказистый человечек. Виктор посмотрел на него нахмурясь, а Саша сделал вид, что не замечает его, хотя человечек всячески старался привлечь его внимание кивками и подмигиваньем.

— Ну, что тебе? — грозно спросил Виктор.

— Саш, — сказал человечек, — можно тебя на минутку?

— Ты опять тут? — спросил Виктор.

— На одну минутку, Саш, — сказал человечек смиренно.

— Ну? — спросил Саша, выйдя с ним за дверь.

— Понимаешь, Саш, какое дело...

— Ты из меня, ей-богу, уж всё выкачал, — сказал Саша. — Мне нужно маме послать.

— А у меня, понимаешь, какая штука, сестренка заболела, — сказал человечек. — На лекарство, понимаешь, надо. Может, и не выживет. Сорок температуры. Горит как в огне.

— Вот, ей-богу! — сокрушенно сказал Саша и полез в карман.

Рука Виктора протянулась сзади и задержала его руку.

— У тебя когда сестренка была? — спросил Виктор у человечка. — Была у тебя сестренка? Катись отсюда, чтоб больше я тебя не видал возле Сашки!

— Виктор, ну что, ну брось! — сказал Саша.

— Катись-катись! — повторил Виктор, не слушая.

Человечек смылся.

— Ты что! — в смущении сказал Саша.

— Ты этот свой характер оставь, слышишь? — сказал Виктор. — Должен людей различать. Перед кем надо душу нараспашку, а перед кем не надо.

— У него что, действительно нет сестры?

— И не было никогда, — сказал Виктор.

И они ушли в комнату, откуда звучала, под аккомпанемент гитары, шофёрская песня.

...Эту же песню напевал Виктор, ведя ночью по степи машину с холодильной установкой.

Луна заглядывала в кабину. Саша спал, приткнувшись к плечу Виктора.

Утром вел рефрижератор Саша, а Виктор рядом с ним спал крепким сном.

Бесконечна была азиатская степь под палящим солнцем.

Виктора разбудила резкая перемена движения. Машина уже не бежала вперед, а тихо ползла назад. Виктор открыл глаза. Саша вылезал из кабины.

— Спи, я сам посмотрю! — сказал он Виктору.

Виктор осмыслил положение. Мотор не работал, машина ползла, потому что местность была покатая. Виктор вылез вслед за Сашей. Они нашли у обочины дороги пару подходящих камней и подложили под задние колеса, чтобы остановить машину. Саша поднял капот и стал копаться в моторе.

Солнце поднималось выше и выше, а они всё

копались в моторе, а потом полезли под машину, сперва Саша, затем Виктор, и хотя под машиной была маленькая тень, но жара и там донимала.

— А всё-таки хорошо! — сказал Саша, вытирая пот с лица. — Простор какой, закружиться можно! Хочешь — на север езжай, хочешь — на юг, на восток, на запад!

— Помнишь, я тебе про раскопки говорил, — сказал Виктор, — это вон там.

Он рукой показал, где находятся раскопки.

— Недалеко отсюда? — спросил Саша.

— Нет, брат, далеко! — вздохнул Виктор. — Не завернешь по пути. Целый город там откапывают, с крепостью, с дворцом... Знаешь, еще ведь Рима не существовало, а в этих местах уже искусство было, культура... Как-нибудь возьмем с тобой отгул, смотаемся туда, я тебе покажу!

— Слушай, — сказал он, — сходи за водичкой, а? Тут с километр пройти, не больше, — увидишь дорогу направо. Там вскоре кишлак будет. У них вода хорошая, славится, набери, пока я тут закончу.

— Давай! — сказал Саша с готовностью. И, захватив пару пустых бидонов, отправился за водой, а Виктор снова полез под машину.

...Он лежал под машиной, ремонтируя ее. А под громадным колесом тихо дрожал, пошатывался подложенный под него камень...

Вот показался перед Сашей кишлак, а в кишлаке показалась ему навстречу девушка. При виде

незнакомого молодого человека она прикрыла лицо своей безрукавкой, однако так, что половина этого свежего привлекательного лица была видна в вырезе безрукавки, и через этот вырез девушка разговаривала с Сашей и улыбалась ему.

— Здравствуйте! — сказал Саша.

— Здравствуйте, — ответила девушка.

— Разрешите у вас водички набрать, — сказал Саша. — Говорят, славится ваша водичка.

— Вот как, — сказала девушка, — а мы и не знали, что наша водичка славится.

— Да, — сказал Саша, остановившись с намерением поболтать. — Очень говорят, хорошая.

— Ну что ж, проверьте, правду говорят или нет, — сказала девушка.

— А где набрать можно? — спросил Саша. — Будьте добры, покажите.

— Уж так и быть, придется показать, — сказала девушка и пошла перед Сашей грациозной походкой.

Разговор продолжался у старого каменного колодца.

— Вот не было печали, застряли, понимаете, — рассказывал Саша девушке, пока та набирала ему воду. — Сколько рейсов сделали, и никогда никаких чепе, а тут вдруг...

— Попробуйте, — сказала девушка, — может быть, обманули вас?

— Напиток богов! — сказал Саша, выпив с наслаждением.

— Сколько рейсов сделали, — сказала девушка, — а к нам ни разу не заезжали...

Разговор продолжался, хотя бидоны уже стояли на земле, наполненные.

— А вы работаете, — спрашивал Саша, — или учитесь?

— Я учусь в Самарканде, — отвечала она гордо, — в медицинском техникуме. А сюда приехала к родным, на каникулы. А вам ваша работа нравится?

— Хорошая наша работа, — сказал Саша. — Про нас, шофёров, песня поется...

И он стал напевать песню о трудных дорогах и шофёрской неутомимости.

...Они прощались на краю кишлака.

— Большое спасибо! — говорил Саша.

— Приезжайте к нам еще за водичкой, — отвечала девушка, — и привозите вашего хорошего товарища.

— Обязательно! — пообещал Саша. — И сам приеду, и товарища привезу.

И, уходя, оглянулся и кивнул, как старинной знакомой, а девушка смотрела ему вслед в вырез безрукавки.

Он увидел издали, как полз назад длинный рефрижератор, и, увидев это, пустился бежать, расплескивая воду из бидонов.

И увидел, как косо, поперек дороги остановился рефрижератор, съехав с покатости, — и Саша остановился и поставил бидоны на землю, страшась шагнуть дальше... Потом опять бросился бежать с криком:

— Виктор!!!

На дороге остановился встречный газик. Высыпали люди, бегут к рефрижератору...

— Я, конечно, я! — говорит Саша. — А кто же?.. Я виноват, один. Вернись я раньше! Ведь мог же вернуться раньше! Прохлопал дорогого человека...

Это он говорит, сидя в чайхане. Вокруг сидят и пьют чай два его товарища по шофёрскому общежитию и незнакомые узбеки — старые, степенные, изредка с важностью переговаривающиеся на своем языке. В открытую дверь чайханы виден залитый солнцем базар.

— И как это сразу сделалось... — с му́кой говорит Саша.

— Молодость, неискушенность! — по-узбекски говорит один старик другим, и те кивают головами. — Он думает, кто-то будет его предупреждать об ударах судьбы!.. — А по-русски он говорит, обращаясь к Саше: — Все несчастья приходят сразу. Только чепуха долго тянется.

— Сколько лет вам, молодой человек? — спросил другой старик.

— Двадцать второй, — ответил Саша.

— Уже порядочно, — сказали старики.

— Я воевал с басмачами, — сказал один, улыбаясь своим воспоминаниям, — когда мне был двадцать второй год.

— У меня было двое детей, — сказал другой. — Вы женаты, молодой человек?

Саша не ответил.

— Надо в себе готовность воспитывать к ударам

судьбы, — сказал первый старик. — Поэт сказал... — Последовала цитата по-узбекски.

— Поэт сказал... — подал голос другой старик, и последовали другие изящно произнесенные стихи.

Саша не слушал. Закуривая сигарету, в тоске — глаза бы не глядели на все эти напоминания — вышел он из чайханы в сутолоку залитого могучим зноем базара, в пестроту лиц, одежд, дынь, винограда, тканей, развешанных перед киосками, и ревущих ослов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

И ни базара, ни слепящего солнца.

Крупно и густо падает снег. Падает, падает...

Среди бескрайних северных лесов тоненькой змейкой бежит поезд. Остановился у станции. Человек с чемоданом в руке стоит на перроне, поезд его подхватывает, бежит дальше.

— Сюда, —говорит проводница, открывая дверь в купе.

Роскошная меховая шубка висит, скрывая половину купе. Два глаза видит Саша, входя, — два огромных глаза, а уже потом видит женщину, обладательницу этих глаз, и столбенеет перед ее прелестью.

— Сюда? — переспрашивает он нелепо.

— Сюда, — подтверждает проводница.

— Здравствуйте, — говорит Саша.

— Здравствуйте, — говорит женщина.

Саша забрасывает свой чемоданчик наверх, выходит из купе, становится к окну. Лес, нагруженный снегом, плывет за окном, и два огромных глаза смотрят на Сашу из лесу, из этих бессчетных елей,

сосен и обнаженных берез, и он не сразу понимает, что это женщина стоит за его спиной и отражается в оконном стекле.

— Как рано темнеет, — говорит женщина. — А там, куда я еду, скоро будет ночь без дня. Полярная ночь.

— А куда вы едете? — спросил Саша, не оборачиваясь, — у той спросил, что виднелась в окне.

— В Мурманск.

— Я тоже в Мурманск.

— Работать?

— Ну, ясно.

— Где?

— Найдется где. Хочу север посмотреть.

— А там темно, — улыбается женщина. — Ничего не увидите.

— Увижу. Я теперь смотреть научился.

— Неужели? И понимать?

— Не знаю... — говорит Саша. — Был у меня друг, умел понимать, да вот не сберег я его.

— Поссорились?

— Погиб он...

— Бедный мальчик, — говорит женщина.

— Не мальчик, — говорит Саша. — Взрослый был, сильный человек.

Он не понял, что женщина имеет в виду его, а не Виктора.

Потом они долго разговаривали в купе.

Перебросятся словом и помолчат, и опять перебросятся.

...— И вы ей комнату так и отдали? — спрашивает женщина.

— А что комната, — сказал Саша. — Комнату я всегда найду. Только вот муж мне ее не понравился.

...— Любили ее?

— Да что вы! Нет! Просто так, дружба у меня к ней была. И то не очень.

— Вот вы, оказывается, какой.

— Какой?

— Занятный... А я вам кажусь — какая?

— Образованная. Умная. Красивая очень, — завороженно ответил Саша, а женщина засмеялась.

На вокзале ее встречал муж — моряк в чинах, и пришедший с ним матрос подхватил ее вещи, а муж взял женщину под руку и бережно повел. Саша обогнал их и сказал:

— Прощайте пока.

— До свиданья, Саша, — сказала женщина.

— Кто это? — спросил муж.

— Познакомились в поезде, — сказала женщина. — Славный парнишка.

Работу Саша искал так. Он сел в автобус и спросил у водителя:

— Где ваше управление помещается?

И протянул водителю, опустив окно кабины, листок бумаги и карандаш.

— Напиши, пожалуйста.

— Жаловаться, что ли, надумал? — спросил водитель.

— Не на что мне еще жаловаться, я в вашем городе всего полчаса, — сказал Саша. — Работу ищу.

— Возьми, — сказал водитель, возвращая бумажку с адресом.

В отделе кадров автобусного управления инспектор сказал Саше:

— Нам в Лесохолмье нужны шофёры.

— Это где — Лесохолмье? — спросил Саша.

— Пятьдесят километров от города, — сказал инспектор. — Автобус оттуда сюда будешь водить, а жить будешь там. Жилье дадим. Хорошее.

— В Лесохолмье так в Лесохолмье, — сказал Саша.

Инспектор внимательно рассмотрел его документы и спросил:

— А чего ты к нам приехал? Да еще из теплых краев?

— Нельзя разве? — спросил Саша.

— Почему нельзя, только странно это, согласись. Отсюда люди туда бегут.

— Не согласен, — сказал Саша. — Мало ли кто куда. А мне тут пожить стало желательно.

— Пить будешь здóрово? — спросил инспектор, глядя на него с подозрением.

— Непьющий, — сказал Саша.

Катит междугородный автобус, погашены в нем огни, спят пассажиры. Радиоприемник передает заокеанскую музыку убаюкивающих ритмов. Сильные фары выхватывают из ночи снежный простор,

а прямо перед автобусом в высоком небе играет северное сияние.

На остановке стоит веселая компания. Саша тормозит, открывает дверь. Входит моряк в чинах и та женщина и еще несколько человек.

Они рассаживаются по креслам, моряк останавливается над женщиной, между вошедшими продолжается шутливый разговор, начатый на остановке. Ладно, ладно! — говорит моряк кому-то.

— Честное слово, выкраду, — отвечает ему товарищ. — Такую красавицу грех не выкрасть. Ты пока плавать будешь — выкраду.

— Не такой человек Гусаров, чтоб у него жену выкрали, — говорит моряк. — Ты как считаешь, Полина?

— Я недоступна, как северное сияние, — шутит Полина, и Саша смотрит в зеркало и видит Полину и ее глаза.

Он останавливает автобус, выходит из кабины и подходит к ней.

— Здравствуйте! — говорит он радостно. — Наконец-то я вас встретил!

— Здравствуйте, — отвечает Полина с удивлением. — А, это вы!

Компания недоуменно смотрит на Сашу, а он говорит Полине:

— Зайти к вам хочу, да адреса не знаю.

— А вам не кажется, молодой человек, что автобус ехать должен, а шофёр за рулем сидеть? — спрашивает один из компании.

— Благодарю, я свой график знаю, — говорит Саша. — Приедем вовремя. Так какой ваш адрес?

— Смоленская улица одиннадцать, квартира пятьдесят пять, — в растерянности говорит Полина.

— Спасибо, — говорит Саша и идет на свое место.

Он слышит смех у себя за спиной и включает погромче приемник, и становится слышно только музыку, и под музыку идет в странное сияние странный автобус.

— Ужасно вы странный человек, — говорит Полина Саше.

Они сидят в ее квартире, обставленной со стандартным комфортом, сидят на диванчике, в разных его углах, а между ними коробка шоколадных конфет.

— Ну на самом деле: взял адрес и явился, как будто мы сто лет знакомы и можно запросто... Это не по правилам.

— Не надо правил, — говорит Саша. — Всё равно их все не выучишь.

Вошел Гусаров.

— Познакомьтесь — сказала Полина, и Саша встал. — Это Саша, ты его видел.

— Петр Петрович, — сказал Гусаров, глядя на Сашу с интересом. — А вы тот товарищ в автобусе, что адрес требовал?

— Я попросил, — сказал Саша.

— Ну и правильно, — сказал Гусаров.

— А Полина Сергеевна говорит, что это не по правилам, — сказал Саша.

— Дай нам поужинать, Поля, — сказал Гусаров. — Посмотрим, что за Саша, с чем его едят.

Они сидели за столом, и Саша накрыл ладонью рюмку, над которой Гусаров наклонял бутылку.

— Не пьете? — спросил Гусаров.

— Сейчас не хочу, — ответил Саша. — Зачем себя взвинчивать, если мне и так весело.

— Воля ваша, — сказал Гусаров, — только иногда разговор не получается, если не выпить по рюмочке.

— У меня так не бывает, — сказал Саша. — У меня всегда получается, когда мне интересно.

...Он стоял в дверях, Гусаров его провожал, и он сказал Гусарову:

— Мне надо вам сказать. По секрету. Поскольку вы уходите в плаванье надолго и это было бы нечестно, промолчать. Я люблю вашу жену, и вы понимаете...

— Милый мой, — сказал Гусаров добродушно. — Это на тебе написано неоновыми буквами, твой секрет.

— А почему бы иначе? — спросил Саша.

— Спокойно, — сказал Гусаров. — Будь мужчиной. И будь здоров.

— До свиданья, — сказал Саша.

— Ты туфли возьмешь? — спросила Полина, укладывавшая вещи в чемодан, когда Гусаров, проводив Сашу, вернулся.

— Положи, — сказал Гусаров. — Этот мальчик ищет событий и опасностей.

— Вот тебе туфли, — сказала Полина. — Здесь галстуки, здесь платки. Он забавный мальчуган.

— О да, — сказал Гусаров.

У двери в квартиру Гусаровых стоял Саша с большой пушистой елкой.

Полина открыла дверь.

— Здравствуйте! — сказал Саша. — Я вам елку принес. Я подумал, что вам к Новому году надо елку.

И он пошел на нее, и она отстранилась, впуская его, а елка влезала в дверь трудно, сопротивляясь, словно стеснялась своего бесшабашного владельца.

— Где мы ее поставим? — спросил Саша.

— Сюда давайте! — сказала Полина.

Саша поставил елку в ведро с водой, ведро укрепил в опрокинутой табуретке и спросил:

— Ну как?

— Прелесть, просто чудо, — сказала Полина. — Молодец!

— Игрушки есть? — спросил Саша. — Я тут немножко принес!

— И у меня есть! — сказала Полина и пошла за игрушками.

— Ну вот так, — хозяйственно сказал Саша, когда они украсили елку. — Вы где Новый год встречаете?

— У знакомых.

— Меня возьмете с собой?

— Так ведь если не возьму, вы сами придете, — засмеялась Полина.

— Приду, — сказал Саша, зачарованно глядя на нее.

— Придется взять, — сказала Полина.

Новогодняя вечеринка у Полининых знакомых была в разгаре. Почти до конца уже сгорели свечки на елке.

Саша танцевал с Полиной. Он вел ее неумело, но бережно, — такую новую, невиданную, такую притягательную в этом новом вечернем платье. Огни елки отражались в их глазах.

— Если б даже я вот сейчас вас поцеловала, — нервно сказала Полина и приблизила лицо к его лицу, — всё равно ничего не получится, слышите? Слышите?

— Да, — тихо сказал Саша. — Слышу.

— Вы не беспокойтесь, я провожу Полину Сергеевну, — сказал Саша хозяевам того дома, где они встретили Новый год, и гостям, которые высыпали в переднюю ее провожать.

— Не беспокойтесь, — сказала Полина, улыбаясь. — На него можно положиться как на каменную стену.

— Можно, — подтвердил Саша.

Они вышли на улицу. У дома стоял автобус, пустой. Саша влез в него и открыл перед Полиной дверь.

— Это что, — спросила Полина, — подарок от Деда Мороза?

— Нет, — ответил Саша, — от меня.

— Чудеса, — сказала Полина.

— Не сдал в гараж, оставил до утра, только и всего, — сказал Саша. — Всё равно ведь утром на работу.

И он помог Полине войти.

— И скоро вам на работу? — спросила Полина.

— Через тридцать минут, — сказал Саша, взглянув на часы. — Но я успею отвезти вас домой.

— А я не хочу домой. Я с вами поеду, за кондуктора.

— Ладно, — сказал Саша. — Будете вместо меня билеты продавать. — Он дал ей билеты. — Только рейсы длинные, по полтора часа, выдержите?

— А что? — спросила Полина. — Мне тут нравится.

— Ну, поехали!

— С ветром и свистом! — сказала Полина.

Но с ветром и свистом не получилось, потому что на каждой остановке ждали люди, возвращавшиеся со встречи Нового года, и автобус вскоре набился до отказа, и люди пели песни и продолжали веселиться, особенно женщины, потому что мужчины, утомленные праздником, большей частью дремали.

А Полину продажа билетов сперва развлекла, но быстро наскучила, и езда утомила ее и укачала. Когда подъезжали к Лесохолмью, она была совсем размякшая и сонная и сказала:

— Саша! Я спать хочу. И вообще домой. Я устала.

— Хорошо, — сказал Саша.

И свернул со своего маршрута в сторону.

— А куда мы едем? — спросила одна пассажирка, взглянув в дырочку, протертую на замерзшем окне.

— А правда, куда? — заволновалась другая. — Остановите машину!

— Граждане, не беспокойтесь, — сказал Саша в микрофон. — Временное изменение маршрута. Кондуктор спать хочет, так что причина вполне техническая.

Все засмеялись.

— Ну, кто против?

— Никто! — хором ответили пассажиры.

И так все были хорошо настроены после встречи Нового года, что никто не стал скандалить и продолжали песни петь.

Автобус остановился у какого-то дома. Саша сказал Полине:

— Вот ключ, квартира шесть, там располагайтесь, а после смены я вас отвезу домой в Мурманск.

— Хорошо, — сказала Полина сонно.

Когда Саша вернулся с работы после бессонной ночи и многих часов за баранкой, Полина крепко спала, одетая, в его комнате на тахте, повернувшись к стене лицом, и он взял свою куртку и закрыл ее ноги, чтобы ей было теплее, а ему чтоб не глядеть на эти ноги.

Он умылся и поел в кухне и снова вошел в комнату. Полина не просыпалась.

Спать ему было негде. Кроме тахты у него имелся еще стол да два стула, да стенной шкаф, а больше ничего. Саша включил электрический рефлектор, направил его на Полину и не знал, что делать дальше. Сел к столу, взял было листок, написал:

«Здравствуйте, мама. Как вы поживаете?»

Но посмотрел на Полину и отложил листок. Стал книгу читать, но скоро голова его упала на книгу, он заснул.

Полярная ночь плотно лежала над городком, застроенным стандартными кирпичными домами, такими же как в Ташкенте и Ленинграде, такими же, какие везде сейчас понастроены, чтоб людям было где жить...

В одном из таких домов проснулась Полина и огляделась, и увидела спящего Сашу, и не удивилась, а улыбнулась тихо, торжествующе и благодарно. И он, словно почувствовав ее пробуждение, тоже проснулся, распрямился, приходя в себя после спанья в неудобной позе, и встал.

— Долго я спала, да? — спросила Полина.

Саша посмотрел на часы:

— Уже семь часов. Вечер. Сейчас я вам что-нибудь приготовлю.

Он вышел в кухню.

— Ты мне снился, — сказала Полина из комнаты.

— Да? — улыбнулся Саша.—И что вам снилось?

Он наклонился над шкафчиком, доставая свертки, а когда достал, Полина стояла рядом с ним, очень рядом, и он повернулся к ней, держа свои свертки, а она взяла его голову в руки, и пальцы ее смешались с прядями его волос.

— Вот что мне снилось, — сказала Полина.

— И вот что, — и она поцеловала его, и свертки посыпались к их ногам, и он обнял ее.

Полярная ночь плотно укрывала городок, в котором почти все окна погасли и только от снега,

посеребренного редкими фонарями, шло немного света. И в комнате было темно, еле угадывалась оконная рама, и блестел в темноте глаз и чуть белело плечо и рука на плече. А потом слышны стали голоса, негромкие голоса Полины и Саши.

— Как ты живешь прекрасно, — говорил голос Полины. — Без всякого лишнего барахла.

— Если ты хочешь, — отвечал голос Саши, — я всё куплю постепенно.

— Ничего не надо! — говорил голос Полины, и становилось тихо, только ярче блестел глаз и крепче держала плечо рука.

— А когда ты не работаешь, что ты делаешь? — спросил голос Полины, и голос Саши отвечал:

— В Мурманск езжу и в другие места, куда успеваю, смотрю где что, где как устроено, как люди живут. О тебе думаю очень много.

— Расскажи, что ты думаешь, — просил задумчивый голос Полины, и голос Саши рассказывал:

— Как ты ходишь, и как ты говоришь, и как ты живешь, и как мы вместе будем ходить и вместе жить, и что это со мной такое, я об этом в книгах не читал и никто мне такого не рассказывал, и я догадался, что это вот и есть любовь, и понял, что мне не надо вовсе делать ничего такого особенного, ухаживать, хитрости изобретать, просто надо любить тебя, и всё. Ты улыбаешься?

Она промолчала.

— Вот и начался наш Новый год, — сказал голос Саши. — С исполнения желаний.

И снова было тихо в комнате, заполненной темнотой долгой полярной ночи.

— А теперь я всё время с тобой буду, — сказал голос Саши.

— Тебе учиться нужно, — сказал голос Полины. — Не всю жизнь шофёром быть.

— Хорошо, — согласился голос Саши. — Буду учиться после работы. Это хорошо — учиться, ты права.

— Только учись, пожалуйста, с толком, — сказал голос Полины. — А то вот я ученая — а проку что? Юридический кончила, год проработала — скука страшная, так и не знаю, надо мне было учиться или не надо.

— Ничего, — сказал голос Саши. — Всё устроится, теперь ты со мной, никакой у тебя не будет скуки.

— Смешной, — сказал голос Полины.

— Странно, — сказала Полина. — Уже четвертое.

Они сидели за столом, завтракали. То же самое платье было на Полине, что на Новый год.

Саша встал.

— Я вернусь после пяти, — сказал он.

— Я тебе ужин приготовлю, — сказала Полина. — И домой съезжу.

— Домой?.. Зачем?

— Надо взять кое-что.

— Хорошо, — сказал Саша.

Дома Полина пробыла недолго — в почтовом ящике лежала записка: «Вам телеграмма, зайдите на почту».

Девушка из окошечка подала ей телеграмму:

«Возвращаемся досрочно буду пятого утром целую».

И даже подписи не было.

— Я приготовила ужин,—сказала Полина Саше, выходя к нему навстречу в простеньком домашнем платье и передничке.

Саша ее обнял, и она прижалась к нему.

— Не трогай ничего, я сама, — сказала она, когда он хотел достать посуду из шкафчика. — Иди умывайся, я всё сделаю.

— Нет, — сказал Саша. — Так нехорошо — ты будешь делать, а я сидеть, что ли. Надо вместе.

После ужина они вместе мыли посуду, и Саша говорил:

— А работа тебе найдется, сколько хочешь и интересная, и юрисконсультом можешь быть, и в городской суд можешь — я у знакомых узнавал. У меня знакомых много.

Полина слушала и молчала.

Снова была ночь, и среди ночи, когда Саша спал, Полина встала и начала одеваться. Комнату слабо освещал рефлектор, и в его мрачном свете метались руки Полины, торопливо управлявшиеся с вещами.

Саша проснулся сразу и сел на кровати. Рука его протянулась к выключателю, и свет осветил комнату.

— Что случилось? — спросил он.

— Я хотела уйти, пока ты спишь.

— Куда ты?

— Домой.

— Что случилось?! — повторил Саша.

— Муж приезжает, — сказала Полина.

— Муж? — почти вскрикнул Саша. — А я, я кто же? Я не муж тебе?

Она молчала.

— Это нельзя, — сказал Саша. — Нельзя тебе к нему, он тебе не муж больше, как ты не понимаешь! И дом твой здесь, а не там.

Она молчала.

— Ты же сказала, что тебе здесь нравится, — сказал он. — Тебе перестало нравиться?

Его ужасало, что она ничего не отвечает и стоит перед ним такая печальная и строгая.

— Ну как же так! — сказал он в отчаянии. — Как ты не понимаешь! Ты не понимаешь самого главного!

— Мне пора, — сказала Полина.

— Ну постой! — сказал он. — Ну подожди, ну скажи мне...

— Прощай, — сказала Полина. Так сказала, что он затих.

— Прощай, — тихо сказал он, и когда дверь за ней захлопнулась, повернулся к стене и зарылся головой в подушку.

И когда хлопнула дверь внизу, в подъезде, он всё лежал тихо и неподвижно.

Но потом он протянул руку, нащупал на стуле около тахты сигареты и зажигалку, повернулся на спину, закурил... Лежал и курил, и голая лампочка резко светила на его лицо.

Саша лежал и курил, свет падал на его лицо, — это был свет вагонного плафона, дело происходило в комбинированном вагоне, где на верхних полках спали лежа, на постелях, а внизу спали сидя, тесно прижавшись друг к другу.

На верхней полке лежал Саша, от тряски подрагивали его плечи.

Все, кроме него, спали, а для него всё звучал только что прошедший разговор.

Женщины, они все такие, — сказал немолодой толстяк. — Оборотни. Сегодня у нее один, завтра другой.

— А что ей, семью разрушать? — спросил другой пассажир. — Из-за, можно сказать, постороннего эпизода? Семья — святое дело. Ты виноват, и вот тебе наказание.

— Я виноват? — спросил Саша.

— Ну а как же, — сказали ему. — Влез в чужое гнездо — это хорошо?

— Я любил, — сказал Саша.

— Он любил, скажи пожалуйста, — сказали ему. — А что муж любил — это ему безразлично.

— А что им мужья! — сказал толстяк с горечью.

— Эх, ты! — шумно вздохнул спящий напротив Саши красивый мужественный парень. — Сбежал от любви, надо же, куда ты после этого годишься!

— Какая любовь! — возразили ему. — Не любила она его.

— Как не любила! — не поверил молчавший до сих пор мужчина. — А что ж это было такое?

— Да, что ж это было? — спросил еще кто-то.

— Любила мужа, — сказали ему. — А к нему просто подошла, такая была минута.

Прильнув друг к другу головами, как два голубя, сидя спали на нижней полке симпатичные молодые супруги.

— Любовь не может быть на минуту, — сказала супруга.

— А почему? — спросил супруг.

— Замолчи! — сказала супруга. — Любовь должна быть вечной, тогда она любовь, а не бог знает что.

— А... — хотел было еще что-то спросить супруг, но она его перебила, сказав:

— Это всем известно!

— Детей у нее нет, — сказала женщина, спящая на второй полке вместе с ребенком. — Были бы дети, она б и от минуты удержалась.

Не открывая глаз, она натянула на ребенка одеяло.

— Эх, ты! — сказал красивый парень, мощно повернувшись на спину. — Сбежал, не боролся! За любовь, брат, бороться надо!

— Как же это за нее бороться? — спросил Саша. — Кулаками, что ли?

— А хоть и кулаками! — сказал красивый парень. — Зубами! Нет, если у меня такое будет — я легко не сдамся, нет!

— А мне так не надо, — сказал Саша. — Мне надо чтоб без кулаков. И без обмана. Чтоб если уж поверил человеку, то верить до конца.

Тоненькой светящейся змейкой бежал поезд среди северных лесов.

Густо падал снег. Падал, падал...

Весна проклюнулась сквозь снег и сняла снеговой занавес, весна была во всем — в набухших крупных почках, и в пробивающихся из земли побегах трав, и в черной обуглившейся глыбе еще не растаявшего снега, лежавшей у заводского забора.

Бежал из глыбы тонкий ручеек. Чирикали птицы...

На берегу большой реки раскинулся город. Если смотреть на него с реки, две его черты бросаются в глаза: в одной его стороне черными стволами поднимаются в небо трубы заводов, а в другой стороне тоже в небо — но не так высоко — тянутся купола старинных церквей, лепящиеся друг к другу и похожие не то на обсерватории, не то на грибы опенки.

А если смотреть с города на реку, то открывается речной простор, светлая широкая дорога, по которой плывут, хоть и кажутся издали неподвижными, пароходы, баржи, плоты, рыбачьи лодки, а за речным простором — еще больший простор лесов, подернутый дымкой у горизонта. И последние маленькие обтаявшие льдинки белеют на реке.

Резко и настойчиво сигналит грузовик за воротами завода. Ворота открываются, выпускают машину, и она, круто развернувшись, мчится по улице, громыхая свисающими из ее кузова трубами.

Саша сидит за рулем.

...На пристани грузчики, откинув борт, скатывают трубы на землю. Саша стоит, покуривая, и смотрит на их работу.

— Ну живей, не копайся! — покрикивает он.

— А ты не спеши, — отвечает один из грузчиков. — Поспешишь — людей насмешишь.

...У триумфальной арки, на которой написано «Колхозный рынок», стоит Сашин грузовик. Держась за открытую дверцу кабины, разговаривает с Сашей небритый гражданин в сапогах и длинном плаще.

— Рубль, — говорит гражданин, показывая палец.

— На что мне рубль, — говорит Саша, небрежно глядя в сторону.

— Ты ж полный кузов пассажиров наберешь, — говорит гражданин.

— А кто мне запретит, — говорит Саша. — Подвезу, конечно, если кто попросится.

— Два, — говорит гражданин и показывает два пальца.

— Ладно уж, — говорит Саша. — Как для постоянного клиента...

Грузовик катит по улицам, выбираясь из города. Постоянный клиент сидит рядом с Сашей, в кабине, а кузов полон закутанных женщин, возвращающихся с рынка.

...Вечером в Доме культуры были танцы и нарядные молодые люди обоего пола танцевали под наблюдением дружинников. Танцевал и Саша с девушкой не очень юной, вряд ли, судя по ее манере держаться, избалованной счастьем.

Потанцевав, он стоял с нею у стены, свысока продолжая начатый раньше разговор. Девушка держала его под руку и смотрела на него восторженным и молящим взглядом, да и другие девушки,

проходя, на него посматривали, — видно было, что Саша у них пользуется немалым вниманием.

— Жизни не знаешь, — говорил Саша. — Горные вершины видела?

— Нет, — призналась девушка.

— Полярное сияние видела?

— Тоже нет.

— Что такое великая любовь — знаешь?

Девушка только засмеялась застенчиво.

— О чем же с тобой разговаривать, — сказал Саша. — Идем танцевать, что ли.

Танцуя, девушка сказала:

— Я тебя вчера видела.

— Ага, — рассеянно сказал Саша, думая о своем. — Где?

— Ты Катю провожал.

— Катю?.. А, провожал, ну и что?

— Сегодня меня проводи, ладно?

— Саша! — окликнул парень. — Тут у нас компания стасовалась...

— Знаю я вашу компанию, — сказал Саша. — Впятером десятку наскребете...

— Ну что, пошли?

— Да ладно...

И, обращаясь к девушке, Саша сказал:

— Не судьба мне тебя сегодня проводить. Как-нибудь в другой раз. Что поделаешь! — уже уходя, развел он руками.

В небольшой комнате сидело вокруг стола человек семь парней, среди них Саша и рыжий сухощавый молодой человек, небрежно одетый, с нервно подергивающимся лицом, весь поглощенный снедающим его азартом.

Они пили и закусывали, но не это было целью их сборища. Саша, рыжий и еще двое играли в очко, трое смотрели. Парень, что подходил к Саше на танцах, распоряжался закуской.

— Очко, — сказал Саша и раскрыл карты.

Банкомет, откинувшись на спинку стула, смотрел, как Сашина рука берет деньги с середины стола... Банк перешел к Саше.

— Десятка, — сказал он, щелкнув колодой.

— Давай, — сказал сидевший слева парень.

— Семнадцать, — сказал Саша и опять выиграл.

— На все, — сказал тот, чей банк он сорвал.

— А где деньги? — спросил Саша. — Не вижу денег.

— Отвечаю, — сказал проигравший.

— В долг не играю, — сказал Саша.

— Я тоже, — сказал рыжий, и проигравший, отчаянно стукнув по столу костяшками пальцев, с шумом отодвинул свой стул.

— Две карты втемную, — сказал рыжий.

Саша сдал ему карты и стал набирать себе. Болельщики столпились за его спиной.

— Пятнадцать, — сказал Саша. — Больше не беру.

Рыжий уверенно раскрыл свои карты, — взглянул, лицо передернулось, бросил...

— Сколько? — спросил Саша.

— Два валета, — ответил, смеясь, один из болельщиков. Рыжий положил деньги в банк.

...Карта валила Саше, и рыжий уже рылся по карманам, отыскивая деньги.

— Вот черт! — восхищенно сказал один из парней. — Ну и прет!

И наконец настал момент, когда рыжий сказал:

— Отвечаю.

На что Саша ответил, неторопливо положив колоду:

— Мне даже странно слышать.

И тот, у кого он сорвал банк, тоже сказал рыжему:

— Чем ты, интересно, лучше нас.

В комнату вошел парень и сказал рыжему:

— Тебя там жена спрашивает.

— Иду, — сказал мертвым голосом рыжий, надел пальто и ушел, и молча все смотрели, как он уходит.

— Разница в том, — сказал кто-то, — что мы на свои играем, а он, я думаю, не на свои играет. Мне так кажется.

Саша пожал плечами.

— А что, я его приглашал, что ли? — спросил он.

...Поздно вечером Саша вернулся к себе, в комнатушку, которую он снимал в домике семейного рабочего. Зажег лампу, — на столе лежало письмо. Нехотя вскрыл он это письмо.

Читал, и голос матери ему слышался — словно звучал этот голос у него за плечом:

«Что ж ты молчишь, сынок, что ж ты ничего о себе не пишешь»...

Хозяин заглянул к Саше и спросил:

— Опять гулял?

— А если гулял, — спросил Саша, — то что?

— Или не гулял? — спросил хозяин, всматриваясь.

— А если *не* гулял, — спросил Саша, — то что?

— Поменьше бы ты гулял, — сказал хозяин.

— Не получается поменьше, Павел Иваныч, — сказал Саша.

— Выгонят тебя с работы, — сказал Павел Иваныч.

— Наоборот, — сказал Саша. — Еще премию дадут в конце месяца. Такие шофёры, Павел Иваныч, на земле не валяются.

Невыспавшийся и мрачный шел он на работу на другое утро. Солнце ярко светило, прохожие были как ослепленные солнцем, и Саша на него жмурился с неудовольствием.

Он завернул за угол и чуть не сбил с ног молодую женщину, ведущую за руку крохотную девочку в брючках и стеганой курточке.

— Саша! — воскликнула женщина.

— Лиза! — удивился Саша.

И они спросили одновременно:

— Откуда ты тут взялся?

— Откуда ты тут взялась?

— Я тут живу, — растерянно сказала Лиза. — У папы. В этом домике. Со двора, квартира четыре. Ой, Саша, вот уж не думала встретить! Прямо не верится!

— А — этот? — спросил Саша. — Который муж, Вася?

— С Васей мы разошлись, — сказала Лиза, опустив голову.

— Да что ты говоришь! — сказал Саша. — А это у тебя сын, или дочка?

— Дочка, конечно, не видно разве? Дочка, Оля.

— А кто их, маленьких, разберет.

— Мама, пошли, — сказала Оля и потянула Лизу.

— Пошли, пошли! — сказала Лиза. — Проводим дядю. Мы тебя проводим, Саша.

Они пошли по улице.

У ворот стояли тетки и обсуждали Лизу.

— И красивая, — говорила одна, — и бойкая, а неустроенная.

— Царя в голове нет, — сказала другая.

— Не царя в голове, а царевича в жизни нет, — сказала третья. — У красивых это тоже бывает.

Саша и Лиза с девочкой шли, и Лиза рассказывала Саше о своих неприятностях.

— Папа сердится, что я приехала. Конечно, я сознаю, я им столько крови перепортила, и ему и покойной мамочке... Учиться не хотела, из дому уехала по-глупому... Воображала — всего на свете добьюсь исключительно при помощи личного обаяния... Господи, какая дура была, стыдно вспомнить!

— И что думаешь делать? — спросил Саша.

— Ой, не знаю, даже голова кружится! Надо поступать на работу, а Олю куда девать? Знаешь, как трудно в садик устроить...

Навстречу показались две девушки, Сашины знакомые.

— Саша, привет! — сказали они лукаво.

— Привет, — небрежно ответил Саша и прошел мимо, а они посмотрели ему вслед и зашептались.

— Так я как-то запуталась, — говорила Лиза, и ничего не было в ней от прежнего юного удальства, — так запуталась...

— А где моя комната? — спросил Саша.

— Так у Васи же!

— Ты ему оставила?

— Ой! Ты не знаешь, как я с ним мучилась! Это же такое оказалось хамло, такой хапуга! Не то что комнату, будь дворец целый — и дворец бы ему бросила, только чтоб отвязаться!

Они дошли до гаража.

— М-да, — сказал Саша. — Ну так. Я пришел.

— Саша, — сказала Лиза, — ты заходи. Ты скоро придешь, правда? Если б ты только знал, как мне плохо!

Она плакала, а маленькая Оля тянула ее за руку, чтоб идти дальше.

— Саша, — говорила Лиза, сморкаясь в мятый платочек, — я так о тебе всегда вспоминаю, так вспоминаю! И разговариваю с тобой, и советуюсь, как с самым-самым родным. Никого и ничего у меня не было лучше тебя! Если б ты знал, какой ты прекрасный, ты не знаешь... Чтó бы это было, если б не было таких людей, как ты...

— Не очень-то прекрасный, — сказал Саша. — Был бы прекрасный, если б Васю твоего выставил тогда к чертовой матери. Ну ладно, приду. Будь здорова. Пока.

— Квартира четыре! — слабо вскрикнула Лиза ему вдогонку. — Со двора!

Он не оглянулся, входя в проходную. Было уже поздно. Машины выезжали со двора... Саша взял в конторе наряд и выехал на работу.

К счастью, он еще не успел разогнать машину, когда этот старик, нагруженный покупками, в том числе большой сумкой, из которой торчали продукты, вдруг появился перед самым носом — перебежать думал, что ли. Саша крутнул баранку и резко затормозил. На булыжник посыпались макароны, яйца, банка с томатным соусом, сушки...

— Глаз нету, что ли?! — закричал в испуге Саша, высунувшись из кабины. — Посмотреть не можешь, прямо под машину прешь!

— Молодой человек, чем ругаться, лучше помогите мне собрать, — сказал старик спокойно и с достоинством, словно и не ушибся и не угрожала ему только что опасность. — Если тут еще можно что-нибудь собрать...

Саша вылез из машины и стал подбирать виновато.

— Благодарю, — сказал старик, взял у Саши сумку и пошел своей дорогой.

Саша посмотрел ему вслед, сел в машину и догнал его. Всё-таки, видно, старик ушибся, хоть и скрывал это.

— Вы где живете? — окликнул его Саша, выглянув из кабины.

— Недалеко тут.

— Довезу давайте.

— Пожалуй, — сказал старик и сел в кабину.

Они вошли в большой двор. Саша нес за стариком сумку.

Старик открыл ключом входную дверь.

— Это ты? — спросил женский голос.

— Это я, — ответил старик.

В большой светлой комнате вдоль стен тянулись полки с книгами, в углу стоял рояль, много места занимали ухоженные растения в горшках и кадках, а некоторые росли в ящиках — рассада, а лук рос в воде, в бутылках. Среди всего этого была седая женщина с умным лицом.

— Что с тобой? — спросила она, увидев старика. — Что случилось?!

— Ничего, деточка, не случилось, — сказал старик и сел. — С сердцем что-то немножко, и молодой человек вот меня проводил, только и всего.

— Только и всего! — повторила она. — А где твой валидол? Сейчас же прими валидол!

— Здесь, здесь валидол. — Старик полез в нагрудный кармашек. — Потерял, должно быть. Или тут где-нибудь. Вы присядьте, молодой человек.

— Ехать надо, — сказал Саша. — Ну как вы, ничего?

— Ничего! До свадьбы заживет!

— Ну всего тогда, — сказал Саша, глядя на книжную полку.

— А вы много книг читаете? — спросил старик.

— Прежде порядочно читал.

— А теперь?

— Не особенно...

— Почему же так?

— Времени нет.

— А на остальное — есть?

— Да и в общем, — сказал Саша, — жизнь сама по себе, а книги сами по себе.

— Да неужели? — мягко спросил старик. — Вы, может быть, не те книги читали?

— Какие ни читай, умней не станешь, — сказал Саша.

— Вот как! — сказал старик. — Вы хотите сказать, что из жизни больше можно набраться ума, чем из книг, — ну, я сказал бы, нужно и то и другое.

— Вот вы небось целую гору прочитали, — сказал Саша, — ну и как на старости лет чувствуете — много это вам счастья принесло?

— Господи! — гневно воскликнула женщина.

— Позвольте вам сказать, молодой человек, — сказал старик: — то, что вы говорите, до того невежественно, что просто стыдно слушать.

— Чего ж это я, интересно, такой невежественный, — сказал Саша. — Тоже ведь и в школе учился, и читал кое-что...

— Плохо читали! — отрезал старик.

— Нет, где же твой валидол! — сказала женщина и пошла искать валидол по комнате.

— Вы не вообразите, пожалуйста, — сказал старик, засверкав глазами, — что мы только книги читаем, да, пока вы баранку крутите! Я тоже кое-что наработал за свою жизнь и кое-что повидал! И читал книги, да, выкраивал время, представьте!

— Ну ладно, — помолчав, кивнул Саша. — Будьте здоровы.

— Когда надумаете почитать, — сказал старик, — заходите, я вам книги дам...

..Опять Саша собрался везти колхозников с рынка. Во дворе против рынка они грузили в его машину тару от распроданных товаров — ящики, бидоны — и то, что успели купить в городе — кое-что из мебели, шелковое стеганое одеяло, — а две женщины в сапогах и плащах, таких же, как на Сашином постоянном клиенте, подняли в кузов железный венок с траурной лентой.

Саша, покуривая, смотрел, как они хлопотали у машины, а когда увидел венок, то спросил:

— И такое тоже из города возите?

— Разное мы возим, парень, — неприветливо ответила женщина.

Машина шла по проселку. Вспархивала на ветру траурная лента, и всякий раз женщины заботливо ее заправляли.

У развилки постоянный клиент, сидевший в кабине, сказал:

— Тут направо. Сегодня подальше съездить придется.

Часть пассажиров на развилке вылезла из кузова, а машина свернула направо.

Она стояла на краю села. Первыми спрыгнули на землю две женщины. Они приняли венок и понесли его к небольшому дому, стоявшему на отшибе, в стороне.

Что-то увидел Саша такое, что дрогнул и вылез из кабины.

Он увидел, что как две капли воды схож дом с тем домом, из которого он, Саша, когда-то ушел в жизнь.

И сруб такой же, и в том же месте торчит труба

из крыши, крытой дранкой, и такие же два окна, и такое же крыльцо.

На таком крыльце стояла когда-то Сашина мать, говоря ему напутственные слова. А сейчас на это крыльцо суровые женщины внесли венок.

— Всё, — сказал Саше постоянный клиент. Он со своими помощницами тем временем выгрузил поклажу из кузова.

Дверь дома, стоявшего на отшибе, открылась. На крыльцо вышел мальчик, худенький и светловолосый, посмотрел на венок и посторонился, потом посмотрел на Сашину машину.

— Можешь ехать, — сказал постоянный клиент и достал бумажник, чтобы расплатиться.

Снова открылась дверь, и Саша даже подался вперед. На крыльцо вышла женщина, плача взяла мальчика за руку, повела в дом.

— Кто умер? — спросил Саша у клиента, машинально принимая деньги.

— Анна Семеновна наша, — ответил клиент. — Хорошая была женщина. Без нее теперь с фермой покрутимся. Вот мальчишка сиротой остался, тоже проблема. — И, озабоченный, пошел прочь по своим делам.

Саша ехал к городу. День был жаркий, весна в разгаре.

В радиаторе кончилась вода. Саша остановился у маленького пруда, из-под сиденья достал ведерко, наполнил и закрыл радиатор. Хотел закурить — спички кончились...

По большому перепаханному полю ходил немолодой человек в сапогах и пиджаке. Нагибаясь, он брал щепотку земли, растирал ее в пальцах, рассматривал и нюхал.

— Что, спички вам? — крикнул он Саше и пошел к нему, доставая коробок.

Они закурили и присели под большим деревом, одиноко растущим в поле.

— Погода какая, а? — сказал человек. — Золотая погода! Слышите?

Он поднял палец и прислушался.

— Пчелы гудят, — сказал он с удовольствием. — За медом полетели. Так бы всё лето сложилось благополучно — и с урожаем порядок.

— Да, кстати бы урожай в этом году, — сказал Саша.

— Когда же он не кстати! — улыбнулся человек.

— А что тут посеяно? — спросил Саша.

— Еще не посеяно. Еще будем сеять...

— Эй, водитель! — закричал громкий молодой голос. — Сюда давай! Наотдыхался!

Парень лет семнадцати, небольшого роста, стоял возле Сашиной машины и махал рукой.

— Ехать, что ли? — крикнул ему Саша. — Сейчас поедем!

— Давай, давай! — кричал парень. — Опаздываю! — Он деловито взглянул на ручные часы.

С Сашей они ехали к городу. Парень был серьезный, озабоченный, на вопросы отвечал сухо и немножко свысока.

— Куда так спешишь? — спрашивал Саша.

— На курсы поступаю.

— На какие курсы?
— Трактористов.
— Нравится трактор? — спросил Саша. — Что ж, дело неплохое.
— Что значит нравится, — сказал парень. — Запланировал так.
— Мать есть?
— Мать, брат, сестра. — Парень перечислил сухо и аккуратно — будто анкету заполнял.
— Ты что, школу кончил?
— Восемь классов. Потом работал. Брат и сестра кончат восемь классов — отдам в ремесленное.
— Запланировал?
— Да.
Саша покосился на его востренький серьезный профиль.
— Закурить хочешь?
— Не курю, — ответил парень, как отрезал.
— Молодец, — сказал Саша. — Оно для здоровья, говорят, действительно...
— Деньги в дым превращать, — сказал парень. — Мне деньги нужны, хочу избу расширить — пристройку сделать. И обстановка понадобится.
— Как звать тебя? — спросил Саша.
— Антон.
— И как, Антон, думаешь, — вот так, как ты планируешь, так оно и получится?
— А как же! — сказал Антон. — У меня всё так и бывает. Лишь бы свой план всегда иметь перед собой. Дурак живет без плана.
— Уж и дурак? — спросил Саша.

— Дурак, — твердо сказал Антон.
— Ну, желаю тебе, Антон, — сказал Саша, когда они приехали в город и остановились перед домом, на котором висел плакат о приеме на тракторные курсы. И не сразу захлопнул дверцу кабины, чтобы взглянуть, как небольшая фигурка деловитой походкой входила в дверь...

В магазине «Гастроном» празднично одетый Саша купил разных закусок, конфет и бутылку вина. Получая вино, спросил у продавца:
— Оно сладкое?
— Самое сладкое, — ответил продавец.
Нагруженный покупками, Саша подошел к дому, где помещались курсы трактористов, и у входа столкнулся с Антоном, торопливо выходившим из дому.
— Здоров! — сказал Саша. — Ты куда? А я к тебе.
— А, это ты, — сказал Антон. — Здоро́во.
— Решил твое поступление отметить, — сказал Саша. — Ты ж наверняка поступил?
— Да, я поступил.
— Поздравляю!
— Спасибо!
— Учишься уже?
— В среду начинаем.
— Ну пошли!
— Куда пошли?
— Ты ж тут в общежитии? А если у тебя неудобно — ко мне давай двинем. Я подумал — ты, как

некурящий, возможно, и водку не пьешь, так взял вина сладкого.

— Ну что ты, — сказал Антон. — Когда мне вино пить. Некогда мне.

— Так ведь воскресенье, отдых от трудов!

— Домой надо съездить. Одёжу забрать, по хозяйству кое-что еще успею.

— Да немножко посидим давай! На сколько тут дела-то...

— Не могу, понимаешь. У меня так рассчитано, чтоб на дневной автобус попасть.

— Эх, брат, — сказал Саша, — с тобой, я вижу, каши не сваришь...

— И вообще, — сказал Антон, — если я свою городскую жизнь с выпивки начну — недалеко я уйду. Ну, пора мне, будь здоров. — Он снисходительно кивнул, уходя.

Саша поднялся со своими покупками по лестнице и позвонил. Ему отворил старик.

— Здравствуйте! — сказал Саша. — Можно к вам?

— Здравствуйте, — сказал старик, удивленный. — Заходите.

— Ну как вы, ничего?

— Ничего, спасибо.

Саша выгрузил свои покупки на столик в передней.

— Это вам, — сказал он, — и вашей жене.

— А что это, собственно, значит, молодой человек? — спросил старик.

— Ну, просто... — сказал Саша.

— Просто — что?

— Ну, думал — может, посидим с вами...

— Посидим, — сказал старик, — а выпивка зачем же? Жене нельзя, и мне нельзя, а вам, по-моему, необязательно? Или обязательно?

— Да нет, — сказал Саша, — необязательно.

— И закуски свои заберете обратно. Раз уж пришли в гости, примите хозяйскую хлеб-соль, не побрезгуйте.

— Ну, а это? — спросил Саша. — Конфеты? Хоть конфеты-то можно?

Старик улыбнулся.

— Конфеты можете поднести даме... хотя по правилам вежливости полагается в коробочке, а не в кульке.

— Учту, — сказал Саша. — Знал ведь, забыл просто.

— Простите, ваше имя?

— Александр. Агафонов.

— А по отчеству?

— Ну, Михайлович.

— Заходите, Александр Михайлович.

Саша вошел и остановился. У старика были гости. Ничего странного тут не было, но как-то Саша этого не ожидал.

Гости были пожилые и молодые, пожилых больше. Они не пили и не ели, просто сидели.

— Познакомьтесь, — представил его старик. — Александр Михайлович Агафонов.

У Саши было движение — обойти комнату и каждому пожать руку. Но гостей было слишком много, и все они смотрели на Сашу, а у Саши в руках был

кулек с конфетами. Он быстро сунул кулек в карман и, выговорив «здравствуйте», сел на оказавшийся рядом стул.

Разговор, прерванный его приходом, возобновился. Это был совершенно непонятный для Саши высоко ученый специальный разговор. Саша слушал, переводя глаза с одного лица на другое. Потом один из гостей подошел к роялю, сел и стал играть. Саша встал, сказал «до свиданья» и вышел в переднюю.

— Куда же вы? — шепотом спросил старик, выйдя за ним. — Сейчас чай пить будем.

— Я как-нибудь в другой раз лучше, — сказал Саша.

— Ну, как хотите, — сказал старик. — Да, я ведь вам книгу приготовил. Минутку.

Он ушел. Звучала за дверью музыка. Почти тотчас старик вернулся с книгой:

— Прочтете — еще дам.

— Спасибо, — сказал Саша.

— А это забирайте, — сказал старик, отдавая ему его покупки.

— До свиданья, — сказал Саша.

— Всего хорошего! — сказал старик.

Он взглянул, как Саша спускается по лестнице, улыбнулся и возвратился в свою квартиру.

Едва Саша вышел на улицу, как раздался резкий вой сирены и со всех сторон хлынул народ, выстраиваясь двумя шеренгами по краям тротуара.

Милицейская машина промчалась, расчищая мостовую. За машиной бежали два красивых темнолицых босых человека в легкой, белой, не нашей одежде. За ними двигались мотоциклисты все в кожаном, у переднего на руле был флажок.

Завыла машина, бежали темнолицые люди, крича: «Ура!» Из публики некоторые тоже закричали «ура». Но большинство, и Саша в том числе, смотрели не понимая.

— Что это такое, не скажете? — спросил возле него один зритель у другого.

Другой не знал. Объяснил третий:

— Это индийцы бегут. По радио объявляли. Это они протестуют против американской агрессии во Вьетнаме.

— Индийцы? — переспросил кто-то. — Что ж они, из Индии бегут?

— Из Индии. От самого Бомбея. До Хельсинки.

Девушка в школьной форме бросила бегунам букетик ландышей. Они не заметили, пробежали.

Саша пошел дальше.

— Здоро́во, — сказал кто-то, загораживая ему дорогу.

Саша поднял голову — перед ним стоял рыжий.

— Здоро́во, — нехотя ответил Саша, остановясь невольно.

— Когда сразимся? — спросил рыжий.

— Да не знаю, — сказал Саша.

— Надо сразиться, — сказал рыжий улыбаясь, а лицо его подергивалось.

— А может, не надо? — спросил Саша.

— Как же не надо? — тихо спросил рыжий. —

Я отыграться должен или нет?.. Ты мои деньги все успел спустить?

— Нет.

— Тогда играем, — твердо сказал рыжий.

— А если опять проиграешься?

— Это мое дело.

...И опять сидели в тесной комнате, в тучах табачного дыма, и опять везло Саше. Кучка денег лежала перед ним.

Он обернулся к парням, теснившимся за его спиной:

— Непременно надо смотреть, да?

— А что? — спросил один парень.

— Вот непременно! А если играющему неприятно?

— Да пожалуйста! — обидясь сказал другой, и парни отступили. Саша посмотрел свои карты.

— Еще, — сказал он, протягивая руку.

— Двадцать пять, — сказал он, бросил карты и, заплатив проигрыш, хлопнул по банку ладонью. — Ну, дальше давай. Еще!

И, проиграв, бросил карты с возгласом досады.

...Игра пришла к концу. Все деньги лежали перед рыжим, а Саша поднял последнюю свою бумажку, дунул на нее, и она, колыхаясь, плавно легла на стол.

— Всё! — сказал Саша и встал. Надел плащ, взял книгу.

Рыжий, безмолвный, ошеломленный внезапным поворотом судьбы, распихивал деньги по карманам. Парни переглядывались. Один из них вышел с Сашей.

— Саша, — сказал он, — ты ж нарочно проиграл.

— Еще чего! — сказал Саша.

— Я видел.

— Да брось трепаться, вот чудак, — весело сказал Саша и быстро пошел по малолюдной окраинной улице. Шел, шел и остановился.

— Почему бы нет? — сказал он.

Лиза укачивала дочку. Оля не хотела спать, кувыркалась и шалила в кроватке.

— Ну баиньки! Баиньки! — вполголоса терпеливо уговаривала Лиза, укладывая ее. — Спи, доченька, маме еще постирать надо. Бай-баю, бай-баю, баю Оленьку мою...

— Скоро это кончится? — заговорил брюзгливый голос. Лиза и Оля притихли. — Почему ты ее не приучишь засыпать без фокусов? Дети обязаны засыпать без фокусов!

— Видишь, дедушка сердится, — зашептала Лиза. — Спи скорей!

Ее отец вошел в комнату и выключил лампу, горевшую на столе.

— И свет незачем жечь, когда она спать должна.

— Папа, — сказала Лиза, — она боится впотьмах.

— Побоится и перестанет, — сказал отец. — Не ты освещение оплачиваешь.

Оля лежала тихо. Месяц слабо светил в окно. Голос отца снова заговорил:

— Будешь из своего кармана оплачивать, тогда жги хоть всю ночь, на здоровье.

— Ну честное слово, довольно уже, — безотрадно сказала Лиза. — На сегодня по крайней мере.

Зажав под мышкой книгу, Саша стоял посреди двора с поленницами и кошками и озирался, не зная, где квартира номер четыре. И вдруг в освещенном окне увидел Лизу, которая в кухоньке стирала белье.

Саша стукнул в окно. Она вздрогнула, выпрямилась, увидела лицо, прильнувшее к окну, приоткрыла оконную створку:

— Саша?

Его глаза ярко блестели, вид был взбудораженный, и она отстранилась немножко:

— Саша, ты пьяный?..

— Нет! — сказал он. — Ничего я не пьяный, а я тебе хочу сказать, слушай внимательно. Я тоже, ты знаешь, что-то запутался, в мелочах потонул. Не хочу так жить. Нельзя! Живут же люди иначе?.. Я, значит, вот что надумал. Я в отпуск к маме поеду, поработаю у себя в деревне, может и совсем там осяду, очень может быть. И тебе советую то же самое попробовать, чем болтаться без всякого смысла. Подумай как следует. Я тебе напишу. Если захочешь, у нас в доме всегда найдется место и тебе и Оле. Ну, и работа в деревне безусловно найдется.

Она слушала растерянно, только раз попыталась перебить:

— Саша...

Теперь сказала, смеясь и плача:

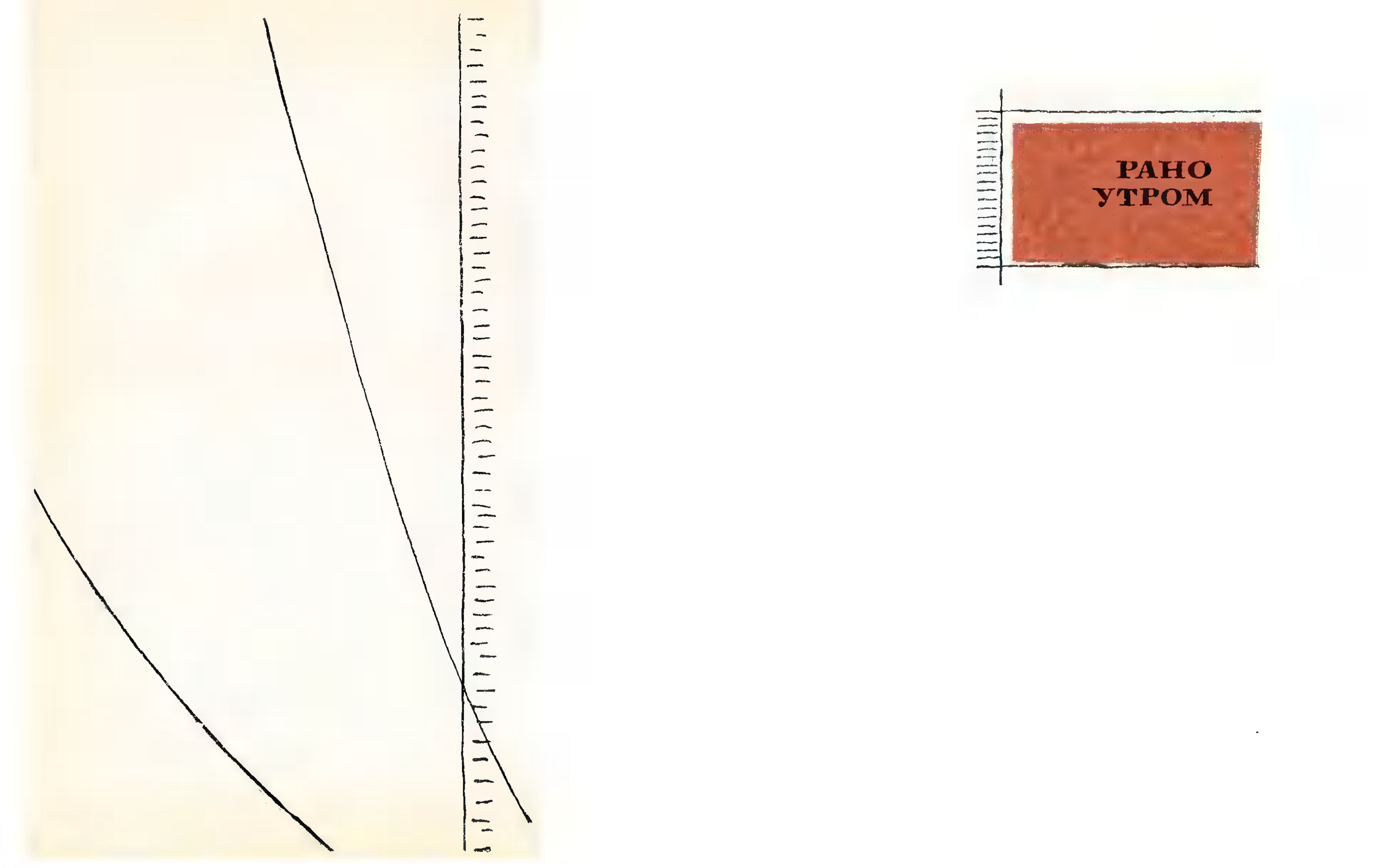
— Ну какой же я работник для сельского хозяйства...

— Почему именно для сельского хозяйства? — сказал он строго, как взрослый ребенку. — Деревня — это не только хозяйство, ты грамотная, можешь завклубом работать, по библиотечной линии, даже, наверно, детей сможешь учить, если подучишься. А Олю устроим, другие же устраивают... Не нафантазируй лишнего чего-нибудь, я тебе предлагаю просто как товарищ и друг, поняла?

— Но как же... — начала она.

— Я напишу тебе, — сказал Саша и кивнул, прощаясь. И ушел между поленницами, озаренный высокой луной.

1965 г.



РАНО УТРОМ

Семья Смирновых состояла из трех человек: отец, сын Алеша — девятиклассник и семилетняя дочка Надя, осенью ей предстояло идти в школу.

Они жили в большом фабричном городе, в большом доме, в маленькой квартирке: комната, кухонька, ванная, передняя.

Жили опрятно, но по-холостяцки. Простые нужные вещи стояли в комнате. Женская рука не наводила здесь уюта: мать Алеши и Нади умерла несколько лет назад. На стене висел ее портрет. С первого взгляда видно было, как Надя на нее похожа.

Утром звонил будильник. Отец поднимался первым. Он был средних лет, крепкого сложения. Он ставил чайник на примус и умывался. За ним вставал Алеша: включал радио, убирал свою раскладушку и между этими занятиями делал зарядку. Радио бравым голосом им руководило.

Надя нежилась в постели, позевывая, с подрагивающими ресницами. Отец говорил:

— Вставай, солдат, побудку играют! — и она вскакивала.

Она одевалась сама, стараясь делать это аккуратно и проворно, и только надевая лифчик, поворачивалась к отцу спиной и просила:

— Застегни.

Отец раньше всех выпивал чай и шел на работу. Когда он спускался по лестнице, из своей двери выглядывала соседка Галина Петровна, худая высокая женщина лет сорока, с шестимесячной завивкой, в халате. Они говорили друг другу:

— С добрым утром, — и он шел вниз, а она смотрела на него сверху, во взгляде ее была гордость, счастье и страх за это позднее счастье.

В тот час по чистым, подметенным улицам шли на работу рабочие. Толпа ждала на трамвайной остановке, трамваи отходили переполненные.

Когда выходили из дому Алеша и Надя, рабочий люд уже успевал разъехаться, на улице были школьники с портфелями и хозяйки с сумками для провизии.

Брат доводил сестру до детского сада, а сам шел дальше.

День их был трудовой, по-своему для каждого.

Отец работал на заводе, Алеша сидел за партой и учился, а Надя гуляла со своим детским садом и прыгала через веревочку.

Вечером после ужина отец отправлялся с нею пройтись, говоря:

— Пошли подышали, перед сном дышать полезно.

Прогуливаясь, они доходили до «Гастронома» и что-нибудь покупали. В «Гастрономе» работала кассиршей Галина Петровна. Она сидела в стеклянной будке нарядная, вся в украшениях: длинные болтающиеся серьги, сверкающей брошкой заколот шарфик. Отец говорил ей:

— Колбасы любительской двести. — Или: — Кило макарон, пожалуйста, — и покупательницы переглядывались, замечая, как она менялась, когда приближался этот средних лет гражданин в скромном пальто, с девочкой за руку. Из раздраженной и сердитой становилась тогда Галина Петровна доброй и вежливой. Вместе с чеком и сдачей она выкладывала на тарелочку конфету для Нади, чем Надя очень бывала довольна.

Как-то вечером отец, вместо того чтоб идти гулять, лег на диван, и лицо у него было усталое, скучное. Он лежал на спине, потирал левое плечо и морщился.

— Папа, — спросила Надя, появляясь с шапкой и пальтишком в руках, — мне одеваться?

— Алеша, — позвал отец. — Погуляй с ней.

— Ты нездоров? — спросил Алеша, приглядываясь к нему.

— Да пустяки, ничего особенного. Устал немножко, и рука разболелась чего-то. Полежу, пройдет.

Брат и сестра вышли из дому.

— Пошли на качели! — сказала Надя.

Их улица была окраинная. Прошли немного — открылись незастроенные просторы. Незаслоненный, вдоль горизонта вольно разлился закат.

На пустыре между столбом и деревом на стальном тросе висела доска.

— Раскачай меня! — крикнула Надя и побежала к качелям.

— Еще! — требовала она в восторге. — Еще! Ну пожалуйста!

Темнело.

— Я ключ не взял, — сказал Алеша, ища по карманам.

— Ну слушай, — сказала Надя, — ну еще раз как следует! Еще только один раз!

Погас закат.

— Хватит, — сказал Алеша.

— Еще самый последний разик! — взмолилась Надя. — Ну, Алешка!

— Надоела ты мне, — сказал он, — ясно? Мне еще уроки. Слезай!

Она поняла, что дальше спорить нет смысла, и слезла с качелей.

Они вошли в подъезд, позвонили у своей двери. Подождали. Прислушались. Позвонили снова. Тишина.

— Вот тебе раз, — сказал Алеша. — Заснул.

— Пошли еще качаться! — предложила Надя.

— Как это я ключ забыл, — сказал Алеша.

Тем временем удивлялась и беспокоилась Галина Петровна. Ее руки прыгали, нажимая кнопки и вышвыривая сдачу. Выйдя на улицу после закрытия магазина, она подождала, не дождалась и пошла домой.

У подъезда стояла машина скорой помощи. Два санитара и Алеша выносили носилки. На носилках лежал Смирнов, укрытый одеялом и пальто. Кучкой стояли соседи: дядя Костя, тетя Светлана, ее муж, дворники. Галина Петровна побежала на своих каблуках, чуть не упала, пошла спотыкающимся шагом. Смирнов услышал ее шаги, повернул к ней лицо, улыбнулся:

— Вот, Галина Петровна, сплоховал я что-то...

Она к нему наклонилась, — болтались длинные серьги, — но носилки исчезли в машине, она не успела сказать ни слова. Алеша, держась за дверцу, оглянулся, увидел Галину Петровну рядом, попросил:

— Вы с Надей не побудете?

— Побуду, — сказала Галина Петровна, — ты езжай. — И спросила у тети Светланы: — Что?..

— Сердце, — ответила та, и Галина Петровна ушла в дом.

В машине Смирнов позвал:

— Алеша.

— Да? — спросил Алеша.

— Пока меня не будет — чтоб всё у вас шло нормально. Как при мне.

— Ладно.

— Деньги трать аккуратно. На глупости не трать.

— Не беспокойся ты.

— Если я там долго проваляюсь, чем черт не шутит, — сходишь к Николай Николаичу или Дмитрий Дмитричу, они из кассы взаимопомощи устроят.

— Ладно.

— За Надей смотри. — Смирнову всё трудней было говорить. — Отвечаешь за нее, ты взрослый. Ребенка обидеть легче легкого.

— Как себя чувствуете? — спросил врач и взял его за руку.

— Да ничего особенного, — сказал Смирнов и как бы задремал.

Дома Надя лежала в постели. Галина Петровна сидела у стола, подпершись худой рукой с маникюром и браслетами.

— А он скоро выздоровеет? — спросила Надя.

— Скоро.

Надя вытащила из-под одеяла ногу и сказала:

— А посмотрите, какой синяк, это я на качелях набила.

— Спи, — сказала Галина Петровна.

Надя отвернулась к стенке. Над кроватью висел коврик — среди белых облаков летели белые гуси. Что-то шепча свое, беспечальное, Надя внимательно обвела пальцем летящего гуся — рука упала, гуси захлопали крыльями, Надя уснула.

Смирнова хоронил весь завод. Проводить его пришли товарищи по работе и соседи по дому. Играл оркестр, несли венки.

Кончился скорбный обряд. Негромко разговаривая, провожавшие расходились с кладбища.

— Круглые сироты теперь.

— Мать тоже очень хорошая была.

Тетя Светлана и ее муж вели Галину Петровну под руки. Муж говорил:

— Самое сейчас лучшее — зайти в ближайшую столовую помянуть.

Галина Петровна промокшим платочком утирала слезы и говорила:

— Это уже всё, Света. Больше ничего уже не будет в жизни.

Алеша услышал эти слова, увидел, как она плачет, какая она убитая и постаревшая, — и впервые догадался, что у отца было в жизни больше, чем знали *они*, дети.

Двое мужчин шли возле Алеши, Николай Николаевич и Дмитрий Дмитриевич, товарищи отца.

— Родственники есть у вас, Алеша? — спросил степенный, основательный Николай Николаевич. Алеша туманно взглянул на него, не сразу поняв вопрос.

— Тетя есть. В Архангельске. Мамина сестра.

— Ты ей написал?

— Нет.

— Надо написать.

Кто-то уцепился за Алешину руку — Надя. Он увидел ее испуганное, ошеломленное лицо.

— Зачем ее взяли, — сказал он, — не надо было.

— Как это так не надо, — возразила одна из женщин, — как это можно не взять. Правильно сделали, что взяли.

— Нет, — медленно сказал Алеша. — Неправильно. Не ее это дело.

— Обязательно тете напиши, — сказал Николай Николаевич, тоже глядя на Надю. И Дмитрий Дмитриевич согласно покивал головой.

Вечером Алеша сел писать тете. В комнате был беспорядок, по полу раскиданы игрушки, бумажки. Надя стала было собирать кукол и зверушек и рассаживать, но она была переполнена жуткими впечатлениями, игра не получалась.

«Дорогая тетя», — написал Алеша. Взял другой листок, написал: «Уважаемая Жанна Васильевна», — и задумался. Надя тихо и вопросительно наблюдала его из своего уголка.

Николай Николаевич был мастер цеха, солидный, неторопливый, держался с достоинством, а худенький Дмитрий Дмитриевич о достоинстве как бы и не заботился, легко двигался и легко смеялся, и если смотреть на него со спины, казался молодым человеком.

Своей легкой походкой он вошел к Николаю Николаевичу в конторку и спросил:

— Ну так как, Николай Николаич, что решаем с Алешей?

— Я считаю, — сказал Николай Николаич, — возьмем его на токарный.

— Почему на токарный?

— Потому что ему заработки нужны как можно скорей. Два человека, есть-пить надо. Да за квартиру. Да за электричество. Трамвай — на завод и

обратно. Ботинки, то, сё. — Дмитрий Дмитриевич слушал наморщившись. — Что тебе не нравится?

— Сделал бы я из него тонкого специалиста, — сказал Дмитрий Дмитриевич, — механика высокой квалификации, это бы дело было.

— Пока научишь, он впроголодь набегается. Тонкую специальность с лету не схватишь. Пускай на токарном поработает. Получит приличную получку — сразу почувствует почву под ногами.

Алеша проводил в школе последние дни. На перемене, молчаливо стоя у окна, он слушал разговоры девятиклассников. Один из ребят рассказывал:

— Дома проходу нет: кем же ты всё-таки собираешься стать? Кем! Почем я знаю? Когда сегодня меня по суше тянет путешествовать, завтра летать по воздуху, а вчера тянуло на подводную лодку!

— Ну, это несерьезно, — сказал другой. — Человек должен твердо знать, кем он станет.

— С пеленок знать, что ли? — спросил третий.

— А ты себя в пеленках чувствуешь? — парировал тот, кто знал, кем он будет.

— Рано глотку дерем, — сказал четвертый. — Еще больше года учиться. Успеем сообразить.

Алеша слушал, и этот разговор, который еще совсем недавно затронул бы самые живые его интересы, казался ему детским, далеким.

— Смирнов! — позвал первый из ребят. — Алешка! А ты что собираешься делать после школы?

— Я? — строго усмехнулся Алеша. — Жить собираюсь. Собираюсь жить, Витя.

— Это примитивно, — сказал Витя, задетый его

тоном. — Жить — это проще пареной репы. Подумаешь, жить! Ты конкретно скажи.

— Уж куда конкретней, — бросил Алеша и отошел.

— Сам ты проще пареной репы! — сказали Вите другие ребята. — Чего ты к нему пристал? Он работать идет, понимаешь?

Цех огромного станкостроительного завода был совсем другим миром, чем школа, и этот другой мир подступил вплотную к Алеше с требовательной серьезностью.

— Вот твой станок, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Валентин тебе объяснит и покажет, а дальнейшее зависит целиком от тебя, как ты подойдешь к своей судьбе: ответственно или нет. — И он позвал: — Валентин!

— Ну, смотри, — сказал Валентин, молодой парень, немного постарше Алеши, — вот это, — он похлопал по станку, — передняя бабка, вот это задняя, так? Здесь шпиндель, так? — Он показал Алеше устройство станка.

Подошел другой парень.

— Заработок на таком станке иметь будешь, — сказал этот парень, Фоминцев по фамилии, — но я тебе скажу — ты на нем недолго засиживайся. Попал в такой цех — есть смысл приобрести всестороннюю квалификацию: не только токаря, но и слесаря, и фрезеровщика, — тогда тебе сам черт не брат, стоишь дороже инженера, мастера кругом тебя прыгают...

В конце смены подошел Николай Николаевич.

— Ну как? — спросил он, рассматривая выточенную Алешей деталь. — Не боги горшки обжигают?

— Нет, всё-таки, видимо, боги, — улыбнулся Алеша своей серьезной улыбкой.

— Ничего-ничего! — сказал Николай Николаевич. — Все так начинают, еще даже хуже!

Обтирая руки, подошел Дмитрий Дмитриевич.

— Итак! — сказал он. — Посвящение состоялось! Юный рыцарь выехал в благородный путь — совершать подвиги!

— Держись, Алексей, — сказал Николай Николаевич. — Сейчас Дмитрий Дмитриевич речь произнесет. По лицу вижу.

— Произнесу, — подтвердил Дмитрий Дмитриевич, — правильно видишь, Коля. Скажу я речь о полюсах. Два полюса у земли, два полюса имеются у всего на земле. Например — правда и кривда. Богатство и нищета, например. Два полюса есть и в работе. На одном полюсе стоит настоящий рабочий и вкалывает с чувством собственного достоинства, ни на кого не надеясь, а только на свои руки и голову. А на другом полюсе стоит придурок, и с виду он тоже как бы человек, но только дела никакого не знает и потому достоинства не имеет. А не имея достоинства, не в силах он оставаться наедине с самим собой и занимается пьянством, хулиганством и нетоварищеским отношением к женщине. Руки свои придурок избаловал, голову испортил, и остается ему одно только орудие производства — длинный язык.

— Вроде твоего, — сказал Николай Николаевич.

— Мой язык не трогай, — ответил Дмитрий Дмитриевич, не обижаясь. — Я без языка проживу. Руками и головой. А придурку отрежь язык — и пропадет придурок, кому он нужен без языка? Куда он денется? Вечером, например, после смены?.. А ты, Алешка, куда, например, сегодня после работы пойдешь? — Они с Николаем Николаевичем переглянулись выжидательно.

— Куда я там пойду, — вздохнул Алеша. — В садик за Надей пойду, куда еще...

В их жилье был теперь вечный хаос, всё раскидано, и без отца почему-то в голову не приходило убрать. Порядок держался только в Надином уголке. Там воплощался некий идеал уюта и домовитости — одноглазые куклы и безухие зайцы чинно сидели на стульях и диванах, сложенных из кубиков и коробок, перед ними на столике была расставлена игрушечная посуда, кругом расстелены лоскутки. Но не будешь целый вечер играть в куклы. И Надя просила Алешу:

— Расскажи сказку. — А он только что раскрыл брошюру о токарных станках.

— Ну что тебе, жалко, да? — спросила Надя.

— Ты видишь, что я занимаюсь? — спросил он строго. — Ты это видишь, правда?

Она отошла и подошла снова:

— А почему мы не ходим в «Гастроном»? С папой мы всегда ходили.

Алеша не отвечал.

— И Галина Петровна всегда мне конфету давала, — грустно сказала Надя.

Галина Петровна как раз шла их проведать. Когда она звонила у двери, по лестнице поднимались незнакомые мужчина и женщина с портфелями.

— Смирновы здесь живут? — спросил мужчина у Галины Петровны, а отворившему Алеше объяснил: — Из районо.

— Насчет Нади, должно быть, — шепнула Галина Петровна.

— Что насчет Нади? — спросил Алеша. — Что такое?

Женщина села к столу и стала писать. Мужчина оглядел комнату, заглянул в кухню, где на веревке сушились детские носки и трусики, скрученные, как сушеные грибы. Алеша шел за ним, стесняясь этого беспорядка, неприбранности, Надиного грязного платья.

— Одна комната, — сказал мужчина, и женщина повторила, записывая:

— Одна комната.

Галина Петровна убрала со стула наброшенную одежду, мужчина сел.

— Ну что ж, милый, — сказал он Алеше. — Всё ясно, устроим сестренку.

— Как это? — спросил Алеша. — Она устроена.

— Как же, милый, она устроена? — задушевно спросил мужчина.

— Она в детском саду. На той неделе на дачу едет...

— Ну хорошо, дача, — сказал мужчина, — а приедет с дачи, пойдет в школу — на что жить будете?

— Я поступил на завод, — сказал Алеша и запнулся, понимая, что на первых порах он не может рассчитывать на достаточный заработок.

— Ну хорошо, поступил на завод, — сказал мужчина, — а заботы, которых требует ребенок? Ты ей обеспечишь нужный уход?

— Да, вот именно! — сказала женщина и окинула взглядом комнату.

— Мне соседи заходят помогают, — сказал Алеша. — Вот, например, Галина Петровна...

— В детском доме, — сказала женщина, — ребенку будет несравненно лучше. У нас образцовые детские дома. Она ни в чем не будет нуждаться. И будет ограждена от нежелательных влияний.

Она подробно осмотрела Галину Петровну, особо задержав взгляд на ее большой, как блюдце, брошке.

— Не знаю, — сказал Алеша. — Я не думал... Нет! Я не согласен в детдом.

— Это же предрассудок, молодой человек, — сказала женщина. — Вы будете мыслить иначе, когда увидите хоть один из наших детдомов.

— Не знаю, — сказал Алеша. — Нет! Не буду мыслить иначе.

— И вообще, — заключила женщина, — тут не стоит вопрос о вашем согласии. Никто вам не доверит ребенка, пока вам не исполнилось восемнадцать лет.

— Видите, — сказала Галина Петровна, — они привыкли одной семьей. И радость и горе (она скорбно закрыла глаза) — всё вместе.

— Будет посещать ее в приемные дни, — сказала

женщина. — Она к нему будет приходить иногда. Вполне достаточно. — И она снова стала писать, ни на кого больше не обращая внимания.

— Но если я не ошибаюсь, — сказала Галина Петровна, — можно, кажется, назначить опекуна. Пока Алеша несовершеннолетний...

Мужчина смотрел на Надю, потом он посмотрел в угол и увидел кукол вокруг стола с игрушечной посудой — идеальную картину благоустроенной семейной жизни.

— Кого же вы можете предложить в опекуны? — спросил он у Алеши. Тот задумался, а Галина Петровна воскликнула:

— Господи, да хоть я, с удовольствием! — но женщина подняла на нее холодный взгляд, а Алеша, напротив, отвел глаза, и Галина Петровна поспешила добавить: — Да на заводе, где их папа работал... У него же столько было хороших друзей...

— Парень, — сказал мужчина Алеше уже не служебно-сердечным, а серьезным голосом, — тебе ведь будет ой трудно. Представляешь ответственность?..

— Вы будете извещены о решении районо, — сказала женщина, собирая свои бумаги.

— Опекун — это кто? — спросила Надя, когда представители районо ушли.

— Тот, кого назначат к нам с тобой для проформы, — ответил Алеша. — А морочить голову ты всё равно будешь мне.

— Он будет добрый? — спросила Надя, подумав.

— А мы злого не возьмем, — сказал Алеша. — Зачем нам злой?

Когда спустя неделю Надин детский сад уезжал на дачу и детишки под конвоем воспитательниц и родителей шествовали по платформе к электричке, рядом с Алешей шел Николай Николаевич, вел Надю за руку и спрашивал у Серафимы Александровны, воспитательницы:

— И когда ее можно будет проведывать?

— По воскресеньям, — отвечала Серафима Александровна. Она была с виду чопорная и ледяная, так что Николай Николаевич посматривал на нее с некоторой опаской.

— Будешь проведывать, Алексей, — сказал он.

— Ну ясно, — бормотал Алеша без особого энтузиазма.

Малышей усадили, электричка тронулась. Алеша и Николай Николаевич, стоя рядом, глядели ей вслед озабоченно.

Всё что-нибудь мешало Алеше навещать Надю. То на неделе подходил во время работы Валентин и спрашивал:

— В воскресенье на футбол, тебя на билет записать?

— Да не знаю, — отвечал Алеша, — надо бы сестренку проведать, как она там на даче...

— Смеешься, — говорил Валентин, — «Металлург» против «Локомотива», какая там сестренка.

— Ладно, запиши, — говорил Алеша, не выдержав. И вместо того, чтобы ехать к Наде, мчался на стадион, свистел и орал, сидя на трибуне. Кругом сидели свои заводские, и так же орал и свистел, забыв о солидности, потный и счастливый Николай Николаевич.

А то случилось такое: Алеша, возвращаясь с работы, подходил к своему дому, и вдруг из соседнего подъезда вышла красота несказанная одного возраста с Алешей, и взглянула на Алешу, и прошла мимо, победоносная, поигрывая сумкой для покупок.

Дядя Костя, сосед, возился около своей машины. Он вечно с нею возился, когда приходил с работы. Некоторые другие мужчины, в том числе муж тети Светланы, любили сидеть во дворе под грибом-навесом, устроенным для детей, и забивать козла, а дядя Костя возился с машиной, которую купил дешево по случаю.

Алеша спросил у него про красоту несказанную:

— Кто это, дядя Костя?

Тот поднял голову, взглянул и ответил:

— Из тридцать четвертой. Люся зовут. Новые жильцы. Школу кончила, в институт готовится. — Дядя Костя закурил и закончил свою исчерпывающую справку: — На пустыре они в волейбол играют.

И Алеша воспылал страстью к волейболу и стал играть по вечерам на пустыре с другими молодыми ребятами и девчатами, среди которых была Люся.

— Люся, пас! — кричал он, и она выводила его на удар, и он гасил и победно встряхивал волосами. В сущности, они играли только друг для друга, видели только друг друга. Пока еще это была не любовь, но молодое желание любви, тяготение к любви, игра, в которой обоим весело, интересно, бездум-

но и каждый чувствует себя более привлекательным и значительным, чем был вчера, — а это очень немаловажно для самочувствия.

После волейбола гуляли вдвоем допоздна, до тех пор, пока город не засыпал. Тогда они говорили:

— До свиданья, спокойной ночи. — И она уходила в свой подъезд, а потом появлялась в окне лестничной клетки и спрашивала:

— Так завтра в кино?

— Хорошо. Я кончаю в пять.

— Без четверти шесть на углу возле «Искры». Я буду ждать. Пока.

— Пока, — эхом отзывался Алеша.

У дома — несколько этажей, у лестничной клетки — несколько окон.

— Алеша! — окликала Люся из окна повыше. — До завтра!

— До завтра! — из окна еще выше.

А он всё больше задирал голову, радуясь ее выдумке и тому, как быстро она взбегает вверх. Она была более взрослой, чем он, более земной, и, вероятно, лучше него знала, что́ ей нужно от этой увлекательной игры.

Алеша сказал Люсе:

— Завтра увидеться не придется.

— Почему?

— Тетю надо идти встречать. Тетя приезжает из Архангельска.

— Не люблю теть, — вздохнула Люся. — Она кто?

— А не знаю, кто. Я ее один раз видел давно когда-то, не помню даже.

Голоса их звучали грустно. Говорили о тете, а думали о том, что не придется встретиться.

Назавтра под вечер Алеша встречал тетю на вокзале. День был серый, ветреный, по временам набегал дождь. Алеша остановился у вагона под номером пять и рассматривал выходящих пассажирок, стараясь угадать, которая из них эта самая тетя. Многие были похожи на теть...

— Алеша, здравствуй! — услышал он. — А я тебя сразу узнала.

Рядом стояла стройная молодая женщина в плаще с капюшоном, под капюшоном легкие светлые волосы, голос мягкий, ласковый.

— Знаешь, по чему узнала? По глазам! Они у тебя такие же, как в детстве... задумчивые!

— Здравствуйте, Жанна Васильевна, — сказал Алеша и взял у нее чемодан.

— Зови меня просто Жанна, пожалуйста. Наконец-то я здесь, милый ты мой мальчик! Ты не поверишь, как я к вам рвалась, мои бедненькие! Не поверишь — даже во сне вас видела... Ну ничего, с этой минуты ты не один, будь уверен. Сейчас приедем к тебе и всё обсудим.

Так она говорила, пока они шли к трамваю.

— Я спать не могла, представляла, как ты тут... Ужасно! Но никак не вырваться было. И работа и хозяйство. Хоть муж занят вечно и детей у нас нет, но дом всё же требует забот...

Так она говорила в трамвае.

— Сейчас я всё уберу, сделаю чистенько, уютно... Милый ты мой, я сниму с тебя весь груз забот, самых больших и самых маленьких, я же у вас единственный родной человек!

Так она говорила, поднимаясь по лестнице. Всю дорогу она не молчала ни минуты.

— Вот, значит, где вы живете. Сейчас всё, всё уберу и вымою. Покажешь, где у тебя грязная посуда и полотенце. Я вам привезла конфеток и семги, у нас семга чудная. Ну, где же грязная посуда?

— Поужинаем — будет, — сказал Алеша. Он к ее приезду прибрал в квартире и вымыл посуду.

— У тебя аккуратненько, — сказала тетя. — Сам всё делаешь, бедняжечка. Ну ничего, в жизни пригодится. В жизни, знаешь, как в хозяйстве — всё на что-нибудь годится. Мой муж тоже любит в свободную минутку позаниматься хозяйством — золотые руки! Если мои планы сбудутся, тебе станет легче.

— Какие планы?

— Надю я забираю к себе. Да-да, это решено, муж согласился. Мы ей будем как отец и мать. Потом обменяем эту комнату на Архангельск, ты тоже переедешь в Архангельск. Может быть, муж согласится — я думаю, он согласится, — тогда мы все потом вместе съедемся. Сразу будет большая дружная семья!

Вероятно, она принимала его молчание за согласие и даже одобрение. Но ни одобрения, ни согласия не выражало лицо Алеши, хотя он и молчал, немного контуженный ее разговорчивостью, ее неожиданно молодым видом, внезапностью ее планов, а может быть — и ее кокетливым обаянием.

Тут она увидела на стене портрет Алешиной матери, теперь рядом висел портрет отца. Она сказала:

— До чего это тяжело! — И покачала горестно головой, стоя перед портретами.

— Завтра мы поедем к Наде! — объявила она, утерев слезинку. — Ты когда завтра освободишься? Что ты работаешь на заводе — это временно, потерпи, мы это обсудим. Всё пригодится в жизни.

— В пять.

— Что в пять? Ах, освободишься. Так поздно! Ну ничего, я пройдусь, посмотрю город, магазины... Я тебя встречу около завода, это где?

— Лучше на вокзале.

— Нет, около завода. Я хочу посмотреть, как всё это выглядит. Кто тебя окружает, в какой среде ты формируешься...

Алеша посмотрел на портрет отца и твердо сказал:

— На вокзале ровно в половине шестого.

И тетя взглянула на него с удивлением, словно только что увидела. Верно, что-то она разглядела в его лице или тон подействовал, только спорить она не стала.

Дача детсада была обнесена частоколом. За частоколом бегали, играли и кричали детишки.

Тетя остановилась у калитки.

— Постой, — с чарующей улыбкой сказала она Алеше. — Я хочу угадать — которая Надя.

— Алешкааа! — раздался неистовый Надин крик. Она подбежала к калитке, просунула нос между кольями и, прыгая от радости, говорила:

— Почему ты не приезжал? А сегодня не родительский день. Родителям на территорию вход воспрещается.

— Ладно, — сказал Алеша. — Мы не пойдем на территорию. Позови Серафиму Александровну.

Серафима Александровна, ледяная, покосилась на умильно улыбающуюся тетю, сказала:

— Поскольку такие обстоятельства, я могу в порядке исключения отпустить с вами Надю погулять. — Отворила калитку и выпустила Надю.

— Поздоровайся с тетей, — сказал Алеша. — Это тетя Жанна.

— Здравствуй, деточка, здравствуй, миленькая! — сказала тетя, пылко целуя Надю. — Ну пойдем, погуляем, познакомимся...

И обдернув и почистив на Наде платьице, причем ее миловидное лицо выразило огорчение, тетя взяла Надю за руку и повела. Алешу Серафима Александровна задержала.

— Алеша, — сказала она своим холодным голосом, — было бы полезно, если бы вы приезжали к Наде. А то когда ко всем приезжают, а к ней нет — это нехорошо.

— Я буду приезжать, Серафима Александровна, — пробормотал Алеша, опустив глаза.

Алеша, Надя и тетя сидели на берегу речки. Тетя поставила перед Надей роскошную коробку шоколада. На крышке были изображены Иван-царевич и Царь-девица на Сером волке.

— Кушай, деточка. Этот набор называется «Сказка».

Надя ела шоколад, а тетя говорила волнуясь:

— Не нравится мне, Алеша, этот детсад и эта воспитательница. У нее ни капельки теплоты к ребенку. Мы заберем отсюда Надю сегодня же.

— Хм, — неопределенно хмыкнул Алеша.

— Мне всегда хотелось иметь детей, — говорила тетя. — Не поверишь — одно время я даже мечтала взять девочку из детского дома... Уж будь спокоен, ей плохо не будет. Всё внимание — ей, не то что здесь.

— Куда мы поедем? — спросила Надя у Алеши.

— Сначала поедем мы с тобой, — сказала тетя, — а потом он к нам приедет.

— Я не хочу, — сказала Надя и передвинулась ближе к Алеше.

— Тебе кажется, что ты не хочешь, — сказала тетя. — Потом захочешь. У тебя будет жизнь как у этой красавицы на коробке. Много-много конфет. Много-много платьев. Ты любишь красивые платья?

— Люблю, — сказала Надя.

— Я тебе чудные сошью платьица! Голубые, розовые, белые...

— А Алеша?

— Он потом приедет.

— Не хочу, — сказала Надя.

— Я сегодня видела в магазине куклу — большую-большую, в красных башмачках, и ресницы настоящие...

— Подождите, — сказал Алеша. — Подождите с

куклой, Жанна Васильевна. Большое спасибо, конечно, но мы не поедем. Ни вместе, ни порознь.

— Алеша, как не стыдно! Я же вам добра желаю! Насколько тебе будет легче! Подумай, Алеша!

— А я думаю. И вчера много думал и сегодня. Нам ничего не нужно.

— Так-таки ничего?

— Жилье есть, — сурово сказал Алеша, — работа есть...

— Одним словом, всё есть!

— А чего нет, — сказал Алеша, — я лучше заработаю, чем даром получать.

— Фу, какой ты, Алеша! — сказала глубоко разобиженная тетя.

— Нет, не фу! — гневно сказала Надя.

— Не будем больше об этом, Жанна Васильевна, — сказал Алеша, предостерегающе положив руку Наде на плечо. — Вы не сердитесь. Вы у нас гостите, пожалуйста, сколько хотите. Пожалуйста. А потом езжайте в Архангельск. Без нас.

— Правильно! — сказала Надя.

Алеша и тетя сидели в ресторане при вокзале, — тетя уезжала. Они уже поужинали и немного выпили.

— А ты до конца продумал, что́ ты на себя берешь? — спросила тетя. Ее обида не прошла, родственная нежность уступила место неприязни, и она сидела рядом с племянником, как посторонняя.

— Вы что́ хотите сказать? — спросил Алеша.

— Ты ей обязан быть моральным образцом! Вот

что! Если взялся воспитывать! А молодость имеет свои порывы! Разве я не знаю! — Тетя выпила.

Алеша молчал, двигая рюмку по столу.

— Ну что ж, ты так решил, твое дело. И ее настроил — ну что ж. Но я умываю руки. Не жалуйся, если будет трудно.

— А кто сказал, что должно быть легко? — спросил Алеша. — Что вы все как сговорились: трудно, трудно...

У него от вина немножко кружилась голова, но только речь его замедлилась, он полностью владел собой.

— Не заносись, пожалуйста. Конечно, лучше, когда легко.

— А это кто сказал?

— Это весь мир знает!

— Два полюса есть в мире, — сказал Алеша. — Два полюса...

— Какие полюсы? Ты о чем?

— Теория такая о двух полюсах. Наука, Жанна Васильевна.

Опять Алеша не поехал к Наде в воскресенье.

Воскресным утром на лодочной станции стояла очередь. Стояли компании молодых людей, стояли влюбленные пары, стояли папы с детьми, читая газеты. Стояли здесь и Алеша с Люсей.

— Не перевелись еще красавицы, — слышали они за спиной, когда подходили к окошечку за квитанцией на лодку. — Ничего девочку оторвал работяга.

— Идиоты, — не моргнув, отвечала Люся. — Пошляки еще не перевелись. — И, взяв под руку нахмурившегося Алешу, ушла с ним.

Река сияла под солнцем. По ней сновали лодки. На некоторых лодках играли на гармони, пели песни. Пробегал речной трамвайчик, поднимая волну. Мост был украшен вымпелами, — был какой-то праздник. Но и в праздник, как в будни, терпеливые рыболовы, главным образом старики и мальчишки, удили рыбу с набережной.

Алеша с Люсей уплыли далеко.

— Давай купаться! — сказала Люся. И не успел он ответить, как она сбросила платье и босоножки, прыгнула в воду и закричала: — Блеск!

Он был поражен ее видом в купальном костюме, ослеплен, а главным образом смущен, но стеснялся показать смущение перед нею, такой бедовой, самоуверенной и резкой на язык. И когда она влезла с его помощью в лодку и сказала:

— Теперь ты, — он беспрекословно отдал ей весла и тоже купался и качался на волнах, поднятых проходившим пароходиком.

Потом она скомандовала:

— Загорать давай. — И они лежали в лодке, положив спасательные шары под голову, и течение несло их, — в общем, Алеша вернулся домой только поздно вечером.

Он открыл дверь и увидел на полу листок бумаги. Там было написано: «Зайдите на почту, вам телеграмма».

На почте ему отдали телеграмму: «Надя заболела».

Вагон электрички был пуст, только в углу сидел с гитарой подвыпивший человек и пел самому себе нехитрую песенку про незабудки, которые синеют за окном, и про малютку, которая спит в уютном домике. Это был последний ночной поезд, и автобусы уже не ходили, от станции Алеша пошел пешком мимо леса, перелесков, дачек, спящих в тишине и темноте.

Он шел быстро, иногда припускаясь бежать.

Вот и спящая дача детсада. Только одно светилось окно в первом этаже.

Алеша тихо стукнул в это окно. Дверь отворила Серафима Александровна.

— А, это вы, — сказала она. — Поздновато. Сейчас, само собой, в изолятор не пустят. Ну что ж, заходите.

Они вошли в ее комнатку.

— Вообще-то мы родителей держим подальше от больных, — говорила Серафима Александровна. — Беспорядок один от родителей. Но она вас так ждет, что сил нет смотреть. Сердце разрывается. — Она это говорила с обычным своим строгим, ледяным даже видом.

— Как она сейчас? — спросил Алеша.

— Заснула, ничего, температура понизилась. А два дня очень было тревожно, по правде говоря. Воспаление легких — не шутка. Утром пустим вас к ней. Ненадолго. Ей это самое лучшее будет лекарство. Ведь у нее, Алеша, никого, кроме вас.

Стыдно ли было Алеше? Скорее это была боль и растерянность перед болью. Вот когда он по-на-

стоящему понял, что такое ответственность за человека, большого или маленького.

— Пойдемте, — сказала Серафима Александровна. — Где-нибудь вас устроим переночевать. — Она вздохнула. — Все правила с вами нарушаем, все правила. Что поделаешь, случай-то такой...

Рано утром Алеша вошел в изолятор.

Надя лежала непривычно тихая и смотрела на него неотрывно, пока он подходил, брал табуретку и садился.

— Здравствуй, — сказал он тихо.

— Почему ты опять долго не приезжал? — спросила она.

И невозможно было ответить правду, и невозможно солгать.

— Не мог, — сказал Алеша. — А теперь смогу. Теперь я так часто буду приезжать, как только позволят.

Он сдержал обещание — это видно из того, что как-то вечером, когда он возвращался, возле дома ждала его разгневанная Люся.

— Привет! — сказала она резко и насмешливо.

— Добрый вечер, — ответил Алеша.

— Куда ты пропал?

— Занят был.

— Чем это занят?

— Сестренка заболела.

— То у тебя тетя, — сказала Люся, — то сестренка... Я бы с кем-нибудь другим могла проводить время. У меня есть с кем, будь уверен.

— Очень рад. Желаю веселиться.

Она поняла, что совершила ошибку.

— Нет, правда. Завтра пошли в парк культуры?

— Завтра я занят, — сказал Алеша.

— А когда будешь свободен?

— Не знаю.

— Ну, Алеша! Ну почему ты вдруг так? Ну почему? Дружили, дружили — и вдруг исчез...

Алеша молчал.

— Или я, — сказала Люся, опять ожесточаясь, — или все эти родственники. Ни одна уважающая себя девушка не позволит...

— Эх! — выдохнул Алеша, повернулся и ушел в свой подъезд.

На лестнице не утерпел, выглянул в окно. Люся медленно уходила. Он постоял, посмотрел, как она уходит.

В последних числах августа жильцы дома, где жили Алеша и Надя, устроили субботник, чтобы озеленить свой двор. Привезли земли и молодых деревцев. Народу на субботник вышло не очень много, но вполне достаточно. Среди вышедших были Галина Петровна, и дядя Костя, и тетя Светлана с мужем, и молодежь, в том числе Алеша. Все бодро, с удовольствием орудовали лопатами и граблями.

— Повзрослел Алеша, — сказала тетя Светлана, видя, как тот катит тачку с землей.

— Повзрослеешь на его месте, — сказала Галина Петровна. — Зато вот у тех жизнь легкая. — Она кивнула на мужчин, которые резались в домино

под грибом-навесом, не обращая на субботник никакого внимания.

— Да уж, — сказала тетя Светлана, в то время как муж ее поглядел на доминошников с сочувствием и вздохнул. — Совести нет. Ведь как бы должно быть? Видят, женщина с лопатой, — сразу чтоб вскочили и подскочили: разрешите, мол, Светлана Ивановна, я поработаю, а вы на скамеечке посидите, полюбуйтесь... Так оно должно быть, а почему оно совсем наоборот, и кто его знает?

Во дворе крутились дети, вернувшиеся с дач и из лагерей. Надя помогала Алеше толкать тачку, и с ней другая семилетняя девочка, чистенькая, с бантом.

— А мне форму купят! — сказала девочка с бантом.

— Мне тоже форму купят! — сказала Надя.

— И портфель! — сказала девочка с бантом.

— И мне портфель! — сказала Надя.

— И кружавчики на воротничок!

— И мне кружавчики на воротничок!

— И новые ботинки!

— А мне новые ботинки уже купили, — сказала Надя. — Красненькие.

— Чего ты врешь? — спросил Алеша, когда девочка с бантом не слышала. — Какие я тебе купил новые ботинки?

— Ну потом купишь, какая разница, — сказала Надя примирительно.

Через двор шла Люся, нарядная, и с ней молодой курсант. Она поздоровалась с Алешей злорадно-вызывающе: — Привет!

Но Алеша реагировал на эту встречу гораздо слабее, чем ей хотелось бы.

— Здравствуй, — ответил он просто, только немножко нахмурясь, и покатил тачку дальше.

— Почему ты сердитый? — спросила Надя, заметив его нахмуренные брови.

— Я не сердитый.

— Ты о чем думаешь?

— Думаю о том, — сердито ответил Алеша, — что кроме формы нужен еще портфель.

— Действительно, — сказал муж тети Светланы, слышавший эти слова, — на такое небольшое, и столько всего надо...

Много надо было, и Алеша зашел в магазин, на школьный базар. Там кишел народ. Алеша потолкался, со страхом озирая выставленные ботинки, пальто, спортивные костюмчики, канцелярские принадлежности... Посмотрел, как матери покупают форменные платья дочкам... Его толкали, на него косились подозрительно. Продавщица строго спросила:

— Вам что, молодой человек?

— Форму, — пробормотал Алеша. — Для девочки.

— Размер?

— Семь лет.

— Размер говорите! Высокая девочка?

Алеша подумал:

— Средняя...

Продавщицу теребили, ей некогда было разговаривать с бестолковым покупателем, она занялась более толковыми.

Он пришел домой — Надя встретила его прыжками и криками:

— У меня уже есть портфель! Дядя Коля принес!

И она поднимала портфель над головой.

— Николай Николаевич, — пробормотал Алеша, — ну зачем, я получу в кассе взаимопомощи, и всё, что надо...

— Не волнуйся, — сказал Николай Николаевич. — Найдешь, куда девать ссуду.

Раздался звонок, и вошли Галина Петровна, дядя Костя и тетя Светлана с мужем. Муж нес пакеты. Они раскланялись с Николаем Николаевичем и сели. Тетя Светлана сказала:

— Может, Алеша, это надо делать как-то поособенному, тонкий подход придумывать. Но я вашего отца знала и мать знала. И потому без подхода, прямо к делу. Это мы Наде принесли что требуется.

— Вот, — сказал ее муж и положил пакеты на диван.

— Не возражай, Алеша, — сказала Галина Петровна. — Мы имеем право. Как соседи. — Она скорбно закрыла глаза.

— Если хочешь, будем считать, что это взаимообразно, — сказал дядя Костя, видя, что Алеше не по себе.

— Ничего не заимообразно, — сказала тетя Светлана. — Ни к чему интеллигентский туман этот. Наш подарок Наде, и всё тут.

— Почему интеллигентский туман, — возразил дядя Костя, — когда-нибудь туго придется нам или

другому какому-нибудь человеку, вот он свой долг и отдаст.

— А, ну это другое дело, — сказала тетя Светлана.

— Спасибо, — поблагодарил Алеша неловко. — От подарков нельзя отказываться, да?

— Нельзя! — закричали они. — Нельзя никак!

— Но только на будущее, — сказал Алеша, — вы поймите, вы же сами такие, я хочу жить своими руками...

— Всё, Алексей, всё! — сказал дядя Костя. — Мы сами такие, всё! На этом закруглимся!

— Вот и прекрасно, — сказал муж тети Светланы. — А теперь пускай женщины займутся подгонкой формы и всем таким прочим, а мы, мужчины, пройдемся до ближайшей столовой.

— А портфель у меня уже есть! — сказала Надя звонко.

— Портфель не годится! — авторитетно заявила тетя Светлана. — Портфель портит осанку. Мы купили ранец.

— Виноват, — сказал Николай Николаевич, — что портит?

— Осанку. Ребенок растет кривобокий. Тогда как ранец заставляет его держаться прямо, и у ребенка вырабатывается нормальный позвоночник.

— Век живи, век учись, — сказал, обидясь, Николай Николаевич. — Сколько видел за свою жизнь школьников с портфелями, и ни одного кривобокого.

— Примерь, Надюша, ранец, — ревниво сказала тетя Светлана.

— Пошли! — сказал ее муж. — Не будем время терять.

Мужчины ушли, а женщины стали развязывать пакеты.

Первого сентября Алеша отвел Надю в школу. Она была в полной амуниции. И хотя слишком длинные чулки собирались вокруг ее ног гармошкой, а из пальто, наоборот, она так выросла, что руки торчали из рукавов чуть не до локтей, — она себя чувствовала великолепно одетой и выступала чинно и гордо.

На улице полно было школьников. В том числе первоклассников, которые шли с родителями, бабушками и дедушками.

В этом потоке Надя вошла в школьную дверь, — кончилась первая пора ее детства.

Постепенно он всё сильней к ней привязывался. Прежде бывало только выполнял по отношению к ней те обязанности, которые возложил на него отец. Теперь вся она от него зависела, и когда ей было плохо, он невольно воспринимал это как свою вину, а когда ей было хорошо — радовался за нее и посвистывал удовлетворенно. Когда же случалось за нее беспокоиться, он по силе своего беспокойства чувствовал, как привязался к ней.

Как-то пришел с работы — Наде давно бы пора быть дома, а в квартире пусто, полутемно. Алеша зажег свет, позвал грозно:

— Надя!

Поискал — не спряталась ли сдуру, позвонил к соседям в одну квартиру, в другую: «Не у вас сестренка?», «Надя не у вас?». Чертыхнувшись, помчался в школу, к гардеробщице:

— Первые классы ушли?

— Давно ушли.

— Никто не остался, вы не знаете?

— А не знаю, — отвечала старушка гардеробщица, — все пальтишки выдала...

Улицы жили своей жизнью. Горели огни, позванивали трамваи. Какая-то женщина стояла на углу, кричала, озираясь беспомощно:

— Таня! Таня! — тоже кого-то искала...

Алеша заглянул в вестибюль кинотеатра. Побывал на пустыре, где качели, — Нади нет нигде. Опять к своему дому — нет, не приходила, в окнах темно.

И вдруг услышал ее голос в хоре ребячьих голосов. Стайкой вышли из-за угла малыши с портфелями и ранцами, щебеча какую-то свою ерунду:

— А она чего сказала? Она сказала — это всё из-за него! Потому что он только баловаться хочет, а учиться не хочет! Она сказала — другой раз поставит не двойку, а единицу!

— Надежда! — яростно окликнул Алеша. — Ты где шатаешься, на ночь глядя?!

— Я гуляла, — испуганная его гневом, сказала она. — Перед сном дышать полезно.

— Ты будешь шляться неизвестно где, а я бегай за тобой!

Подбегала та женщина, что стояла на углу. Она кричала радостно:

— Таня! — Ее девочка тоже тут сказалась, и женщина, успокоенная, повела ее домой.

Алеша за руку втащил Надю вверх по лестнице.

— Чтоб никуда не смела без спросу!

Дома на свету оказалось, что у Нади промочены ноги и весь подол в грязи.

— А это что такое?

Надя зарыдала.

— Мы ходили к Шурику во двор...

Она рыдала отчаянно. Ему стало ее жалко.

— А там лу... лужи!

Очень было жалко. Но ведь надо воспитывать.

— Теперь она ревет! Больше чтоб этого не было, слышишь?! Ни к каким Шурикам!..

Алеша освоился со станком и работал хорошо. И он, и Валентин, и Фоминцев были хорошие рабочие, но Фоминцев особенно выделялся среди молодых. Ему поручили монтаж новых станков, и он держался как человек, знающий себе цену.

— Фоминцев, на молодежный вечер идешь? — спросили у него. Фоминцев ответил, возясь со станком:

— Да нет, отдохнуть надо хорошенько, у меня эта неделя знаешь какая напряженная...

Алешу позвали:

— Смирнов! Фотографироваться иди!

— Чего это ради? — спросил Алеша.

— Из редакции фотограф. Молодых передовиков снимать.

Алеша продолжал работать. Подошел Валентин:

— Пошли, Алексей.

— Да ну его, — сказал Алеша.

— Вдруг напечатают, интересно же. Давай-ка.

— Да ну какой я передовик.

— Пошли, пошли, — настаивал Валентин. — Не заносись перед ребятами, нехорошо.

Алеша нехотя выключил станок и пошел за Валентином. Фотограф их установил и сказал: «Улыбайтесь». Фоминцев, не улыбаясь, твердо занял место в центре группы, на первом плане.

Николай Николаевич шел по цеху; он взглянул на происходящее искоса, с неодобрением.

Газета напечатала снимок: все лица улыбались покорно и ненатурально, один Фоминцев был серьезен, с первого взгляда ясно было, что он тут самый главный, может быть — даже единственный.

А затем Фоминцев вошел к Николаю Николаевичу в конторку, держа в руках листок и внимательно его изучая.

— Чтó вы тут написали, не разберу, — сказал он. — Адрес какой-то?

— Пойдешь в подшефную школу, — ответил Николай Николаевич, — станок им там надо собрать в мастерской. Звонили из завкома.

— И вы никого, кроме меня, на это дело не нашли? — спросил Фоминцев. Желваки двигались у него на скулах, губы были жестко поджаты. — А моя работа стоять будет?

— Не убежит твоя работа. Завтра закончишь. Иди-иди. Мастер дает задание, иди и делай.

— «Мастер»! — передразнил Фоминцев. — Люди делают, а вы тут сидите, палки им в колеса тыче-

те... Для чего меня Дмитрий Дмитрич учил — чтоб вы меня туда-сюда гоняли, чтоб я на затычку на заводе был, да?!

— Не смей меня с Дмитрий Дмитричем лбами сталкивать! — закричал Николай Николаевич. — Вообразил о себе!.. Гонору чересчур много!.. Только такую работу признаёшь, чтоб платили по высшей расценке.

На крик показался Дмитрий Дмитриевич.

— Хорошо! — с угрозой сказал Фоминцев. — Я пойду! Я дисциплину знаю, не подловите! Но вы не забывайте, что́ партия указывает — дорогу молодым кадрам, да! Как бы вам это не напомнили!..

Он ушел.

— Видал молодой кадр? — сказал Николай Николаевич. — Место велит очистить, палки ему тут тычут в колеса...

— Да ну, — сказал Дмитрий Дмитриевич, морщась, — действительно, ведь, понимаешь, нет же смысла такого рабочего гонять, нехозяйственно.

— Ладно, сделает! — отрезал Николай Николаевич. — Подумаешь, свет клином сошелся на Фоминцеве! И другие растут ребята — будь здоров. Алешку вон Смирнова к празднику в бригадиры надо выдвигать...

В Алешиной бригаде был среди прочих ребят Женька Горохов, только что окончивший ремесленное. Ремеслу его в училище научили, но любви к труду не привили. Руки у него были медлительные, ленивые.

— Слушай, что у тебя с руками? — нахмурясь, спрашивал Алеша.

— А что? — хладнокровно спрашивал Женька.

— Да не двигаются.

Женька кивал с тем же хладнокровием:

— Счас, счас. — И закуривал.

— Слушай, — терпеливо говорил Алеша, — ты подумай, как жить будешь. Не пойдет так дело. Не может вся бригада из-за одного человека страдать. Подумай, слышишь?

Женька выслушал внимательно и спросил:

— Можно мне в уборную сходить?

— Ты мне объясни, — сказал Алеше Фоминцев, наблюдавший эту сцену, — у нас тут что, завод или дом отдыха?

— Да на самом деле, — сказал парнишка из Алешиной бригады. — Чего ради, спрашивается? О чем ты, Алексей, думаешь? Скажи Николай Николаичу!

— Эх, — сказал Фоминцев, — будь я на месте Николай Николаича, уж я бы работников подобрал! Я бы таких, как ваш Женька, в шею гнал!

А Женька — руки в карманы — стоял и глазел, как работает Дмитрий Дмитриевич.

— Тебе чего тут надо? — осведомился Дмитрий Дмитриевич, заметив его. — Забыл что-нибудь? Почему не работаешь?

— Счас, — ответил Женька, убираясь нехотя.

Однажды после смены за заводскими воротами Алешу остановила скромно одетая пожилая женщина и сказала робко:

— Я извиняюсь — товарищ Смирнов? Я очень

извиняюсь — хотела узнать, как там Женя мой, Горохов Женя?
Алеша понял, что это Женькина мать.
— Да неважно! — сказал он напрямик.
Женька вышел в это время, заметил, что они разговаривают, — шмыгнул в сторону. На углу его поджидала разухабистая компания, и он с ней удалился.
— Я ему говорю, всё время говорю, — сказала Женькина мать, идя рядом с Алешей, — старайся, Женя, ведь надеяться тебе не на кого, кроме как на себя. Что́ я могу, товарищ Смирнов, я дворником работаю, скоро на пенсию мне, а он же мужчина, ему и то и то надо, пока был в ремесленном — кормили, одевали, а теперь сам должен, — старайся, говорю, сынок, хорошенько...
— И опаздывает часто, — сказал Алеша.
— Товарищ Смирнов, — сказала Женькина мать и заплакала, — у меня старший сын в войну убитый. Никого, кроме Жени... Уж пожалуйста... Может, вы бы ему по комсомольской линии какое-нибудь поручение дали, говорят — помогает поручение...
— Где Женьку опять черти носят? — спрашивали в бригаде.
— Горохова не видал? — спросил Алеша у проходившего парня.
Женька стоял на лестнице, пустынной в этот рабочий час, на четвертом этаже, и с удовольствием плевал в пролет. Под мышкой у него был рулон ватмана.
— Ну должна же в конце концов совесть быть! —

возмущенно сказал Алеша, когда Женька вернулся. — Где ты пропадал?!
— Счас, в чем дело! — сказал Женька. — Я выполнял комсомольское поручение!

Утром, когда Алеша подходил к заводу, его опять остановила Женькина мать.
— Товарищ Смирнов, — сказала она, — я к вам, помогите, Женечку задержали.
— За что? — спросил Алеша.
— На пятнадцать суток, — сказала Женькина мать и пошла рядом. — Товарищ Смирнов, на вас вся надежда, мне его дружки рассказали, он по недоразумению попал, за других его схватили. Ведь он, товарищ Смирнов, вы же знаете, он всё что вы хотите, но он тихий, Женя мой, он хулиганничать не будет, похлопочите, товарищ Смирнов, пожалуйста...
...Это было в зимние каникулы, елки в витринах и большая, убранная лампочками елка на бульваре. Вечером Алеша привел Надю на бульвар, она смотрела на елку, огоньки отражались в ее глазах, — потом он сказал:
— Пошли дальше.
— А теперь куда? — спросила Надя.
— Теперь в гости к моему знакомому.
В отделении милиции сидел один дежурный. На Алешин вопрос он сказал:
— Да все хороши были, ни одного там не было тихого. Хотите вашего повидать?
И дежурный отворил дверь в соседнюю комнату.

Алеша и Надя увидели Женьку, который веником усердно подметал пол.

— Уборщица у нас на бюллетене, — пояснил дежурный. — Других отправили снежок на путях почистить.

— Привет! — сказал Алеша Женьке. Тот потупился и не ответил, став навытяжку с веником в руке.

— Трудишься? — спросил Алеша. — Ну-ну. Матери передать что-нибудь?

У него в пальцах была папироса. Женька жадно посмотрел на нее.

— Папиросу дать разрешается? — спросил Алеша у дежурного.

— Можете, — кивнул тот, и Алеша дал Женьке папиросу. Они присели на скамью, Надя рядом с ними, Надины ноги не доставали до полу.

— Уволите небось, — сказал Женька.

— Не знаю, — сказал Алеша. — Не решил еще. Но если оставлю — имей в виду, будет так: я курю — и ты куришь, я не курю — и ты не куришь; и от станка без моего разрешения — ни ногой. Ведь можешь работать, какого же черта придуриваешься? Неужели мать не жалко? Чужому человеку и то тоска на нее глядеть.

Женька сказал мрачно:

— Ушел бы я от этой тоски — куда глаза глядят.

— А куда они глядят у тебя?

— Не знаю.

— Потерпи, — сказал Алеша. — Скоро в армию пойдешь служить.

— Придется потерпеть, — сказал Женька.

— Вот так, — сказал Алеша. — Договорились. Ну, всего тебе лучшего... Пошли, Надежда, дальше, — сказал он, вставая и беря Надю за руку.

...Он сидел в школе на родительском собрании. Стесняясь своей молодости, сидел одиноко на задней парте. Учительница говорила:

— В общем, учебный год мы заканчиваем с приличными показателями.

В открытые окна класса сияла новая весна. На парте перед Алешей переговаривались две матери:

— Во втором классе уже легче будет. Всё-таки они уже не такие маленькие, как год назад.

— С каждым годом всё легче будет.

— Да, — так вот из класса в класс, и не заметим, как они школу кончат...

Надя выросла, стала молоденькой девушкой и пришла наниматься на швейную фабрику.

Она сидела перед молодой, хорошо одетой женщиной, инспектором отдела кадров.

— Ученическая ставка будет тебе полагаться месяц, — сказала женщина. — Но что заработаешь сверх ставки — то твое. Работа у нас двухсменная. Ну, что еще тебе сообщить?

Она критически осмотрела Надю.

— Ну, иди в закройный цех. Вот тебе направление.

Цех показался Наде уютным, домашним, — ярко в два ряда светили лампы дневного света, а под лампами на длинных столах настлана была материя толстыми пачками, и рабочие — почти сплошь

женщины — большими резаками выкраивали из этих пачек разные фигуры.

— Присматривайся, — сказала пожилая работница, к которой Надю приставили учиться. — Присматривайся, как я работаю, а завтра сама начнешь потихоньку. Сегодня не до тебя — план у нас горит.

Надя стояла и присматривалась. Рядом с ней на полу стоял манекен — прекрасный собой молодой человек в шикарном костюме. Над ним висел плакат: «При работе на ленточной машине опускай предохранитель от пореза пальцев». Чуть в стороне стояла доска, на ней какие-то куски ткани — очевидно, неправильно раскроенной, а выше опять плакат: «Посмотри на этот брак и сама не делай так». Кое-где украшали цех фикусы и пальмы. Из середины цеха разносилась бодрая музыка оркестра народных инструментов, и стоял там не репродуктор, а роскошный приемник.

— Это зачем? — спросила Надя про манекен у своей наставницы, когда та на минутку отвлеклась от работы.

— Красавец этот? Чтоб видно было, чтó мы шьем в настоящий момент.

Очень трудно присматриваться к чужой работе, ничего не делая. Надя начала томиться и потихоньку поглядывать по сторонам.

По соседству две молодые работницы переговаривались — не громко, но если прислушаться, то вполне всё слышно:

— А кто он, кто? Третий раз встречаешься, а человека совсем не знаешь, — говорила одна.

— Он душевный, — сказала другая.

— Душевный! Сегодня он душевный, а завтра окажется женатый! Ты в паспорт посмотри.

Очень интересный разговор, но тут к Наде обратилась наставница:

— Предохранитель не опускаю, замечаешь?

— Не опускаете? — растерянно переспросила Надя, понятия не имевшая, чтó за предохранитель.

— От него только хуже, — пояснила наставница. — На себя надо полагаться, тогда цела будешь. Поняла?

— Поняла, — сказала Надя и обрадовалась, что урок на этом прервался, ей гораздо интересней было смотреть на молоденькую соседку, ту, что сказала про какого-то своего знакомого: «Он душевный». Соседка была стройная красотка со сногсшибательной прической (а Надя ходила с косичками). Соседка была одета очень красиво и непохоже на других, а уж лицо у нее было такое выхоленное, такое изукрашенное, хоть сейчас на вечер. Она заметила восхищенный Надин взгляд и покровительственно ей улыбнулась.

В обеденный перерыв наставница повела Надю в столовую. К их столику подсел один из немногочисленных мужчин, работавших на этой женской фабрике. Надя его заметила еще в цехе: он там починял резак. Он был некрасив и казался Наде очень старым, почти таким же старым, как наставница.

— Знакомься, Дима, — сказала наставница. — Новенькая. Надей зовут.

— Очень приятно, — благожелательно сказал Дима.

За соседним столиком стайка девушек собралась вокруг красотки со сногсшибательной прической, и там шел завлекательнейший для Нади разговор.

— Понимаете, — говорила красотка, — такая ткань, с шерстяной поверхностью, но напоминает трикотаж, а цвет называется — цвет разреза дыни, а шить буду так, чтобы преобладали вертикальные линии.

— А это не будет худить тебя, Оля? — почтительно спросила одна из девушек.

— Ничего подобного, — сказала Оля. — Вертикальные линии зрительно подчеркивают стройность, — и только, кого хочешь спроси.

В ожидании конца смены у проходной стояли молодые мужья, женихи и та часть мужского населения, для которой язык наш еще не нашел подходящего слова и которую, пока нет этого слова, неопределенно именуют «ребята». Торговая сеть извлекала из этого каждодневного скопления мужчин свою скромную выгоду, учредив в двух шагах от проходной пивной ларек, и мужья, женихи и ребята были очень довольны, потому что могли теперь ожидать не теряя мужского достоинства, а состоя, так сказать, при деле, то есть стоя в очереди за пивом.

Когда кончилась смена и из проходной стали выходить трудящиеся, — причем надо отметить, что первыми вышли немногочисленные мужчины, — то многие работницы пошли по улице не в одиночку, а в паре с теми, кто их встречал. Разбитная, грубоватая Неля, та, что говорила: «В паспорт посмотри», — пошла с добродушным интеллигентным очкариком. Толстенькую степенную Катю явно встретил муж: ухаживающие молодые люди не являются на свидание с авоськой, из которой торчат рыбьи хвосты. Самый интересный спутник был у Оли, видный самоуверенный человек во всем модном. Для Нади, которая вышла со своей наставницей, это было зрелище поучительное и завидное.

Дима роскошно уехал на мотоцикле, напялив громадные кожаные перчатки, но Надя это едва отметила, — настолько он был стар, неказист и неинтересен для нее.

Вечером она орудовала иглой и утюгом над своим платьицем. За этим занятием застал ее Алеша, вернувшись домой.

— Ну что? Устроилась?

— Устроилась, — рассеянно ответила она.

— Работала уже?

— Присматривалась, — сказала она так же отвлеченно, мысли ее были прикованы к платью и утюгу.

— А это ты что делаешь?

— Складки. Вертикальные линии подчеркивают стройность фигуры.

— Какая же у тебя фигура, — сказал Алеша.

— А что у меня, по-твоему, если не фигура? — спросила Надя, обидясь.

— А черт его знает что, только не фигура.

— Ничего подобного, — сказала Надя. — Именно фигура.

— Это тебя на фабрике научили?

— Угу. — Она опять углубилась в свое дело.
— Ну-ну, — сказал Алеша.

Надя освоилась в цехе, обстановка и люди стали привычными, и столь же привычным, обязательным в любых обстоятельствах, приятных и неприятных, стало присутствие прекрасного молодого человека из папье-маше, в шикарных костюмах, — эти костюмы менялись, отмечая положение дел на фабрике, смену сезонов, круговорот времени.

Она работала самостоятельно на ленточной машине и ходила в свите красотки Оли, безоговорочно примкнув к кругу ее почитательниц. Вместо косичек она носила теперь самую модную прическу, подражая Оле, как подражала вся свита.

После смены они уходили не сразу, а долго прихорашивались, некоторые даже переодевались понаряднее перед тем как выйти. И Надя тянулась за ними изо всех сил.

— Надька, — спросила однажды Неля, — а ты неужели ни с кем не дружишь? Никто тебя никогда не встречает!

— Бедненькая! — с искренним сочувствием сказала Оля. — Я тебе скажу причину. Ты хорошенькая, но ты не бросаешься в глаза. Девушка должна бросаться в глаза. И ходишь ты как-то не так. Девушка походкой еще издали показывает, знает она себе цену или нет.

Всё это огорчало Надю и кололо ее самолюбие, хотя из гордости она делала вид, будто принимает спокойно всю эту критику.

После этого разговора, когда она по обыкновению осталась одна за воротами фабрики, к ней подошел неказистый Дима.

— Ну, как дела идут? — спросил он ласково.

— Спасибо, хорошо, — ответила Надя, спеша уйти. Ей прямо перед людьми стыдно было идти и разговаривать с таким никудышным человеком.

Он спросил, очевидно намереваясь пригласить ее в кино:

— Вы уже смотрели «Прощайте, голуби»?

— Да, — солгала Надя. — Уже смотрела.

Но он всё шел рядом и спросил:

— Нам не по дороге? — и она в конце концов рассердилась — ну что он пристал!

Она гордо, как Оля, вскинула голову и сказала:

— Нет, не по дороге! — и неожиданно для самой себя добавила: — Я условилась встретиться с одним человеком.

Его глаза стали грустными. Он сказал:

— Ну что ж, извините, — и перешел на другую сторону, а Надя очень удивилась такому своему лихому вранью, но эта новая роль ей вдруг понравилась. Она сделала загадочное лицо, победоносно встряхнула головой и удалилась, напевая романс, пытаясь подражать походке девушки, знающей себе цену.

Фоминцев, веселый, вошел к Николаю Николаевичу в конторку и сказал:

— Так вот, Николай Николаич. Завтра вечерком прошу ко мне. На новоселье. Вот вам адресо-

чек, не потеряйте. — Он положил бумажку на стол и прихлопнул. Ему было лет тридцать, и выглядел он еще увереннен, чем прежде.

— Спасибо, — сказал Николай Николаевич, удивившись. — Я...

— Милости прошу. С супругой.

— Да я не знаю... — сказал Николай Николаевич. — Получил, значит, квартиру?

— Порядок! — подмигнул Фоминцев. — Приходите, Николай Николаич! Мало ли что, что ругаемся иной раз, какую это роль играет? На производстве нельзя без ругани. Что нам делить-то с вами?

— Действительно, нечего, — проворчал Николай Николаевич. — Скоро вот на пенсию уйду — ты на мое место сядешь...

— Я не-е! — весело ответил Фоминцев. — Другой кто-нибудь, Николай Николаич, сядет... Так придете! Жду вас, и не думайте не прийти, на всю жизнь обидите! И Дмитрий Дмитрич будет...

— Ревнует старик, — сказал он Алеше и Валентину, выйдя из конторки. — На мое место, говорит, сядешь... У меня через год законченное высшее образование будет, сдалось мне его место. Мне тогда не эта цена... Так смотрите, ребята, приходите. Обмоем квартирку. И сестренку приводи, — сказал он Алеше.

В новой квартире Фоминцева налицо были все приметы благоденствия: новая мебель, модные занавески, телевизор. В обеих комнатах пировали гости. Фоминцев, его жена и теща угощали. На почетном месте сидел Дмитрий Дмитриевич.

Пир был в разгаре, когда пришли Алеша с Надей и Валентин с молоденькой женой и с грудным ребенком, которого положили на хозяйскую кровать.

— Дорогие гости! — встал им навстречу Фоминцев. — Прошу! Дорогу старым друзьям!

Пришедших усадили и наполнили им рюмки. Играла радиола. Провозглашались тосты за хозяина, хозяйку, за то, чтоб в этих стенах, под этой крышей всё у них обстояло хорошо и благополучно. Фоминцев провозгласил тост за своего учителя Дмитрия Дмитриевича, «благодаря которому я всё это имею», — показал он широким жестом, уже нетрезвый.

Сквозь гам Алеша и Валентин услышали рядом разговор двух гостей.

— Хорош гусь! — похвалил один гость, разрезая на тарелке кусок гуся.

— Да, — сказал другой, не поняв его. — Гусь он, конечно, первоклассный. Из-под носа у Земнухина квартирку оттяпал.

— Как у Земнухина? — спросил первый. — Почему у Земнухина?

— Ну как же, — сказал второй. — Земнухин должен был эту квартиру получить. Уже ходил обмеривать, где что расставлять будет. А расставлять-то досталось Фоминцеву, а Земнухин при разбитом корыте. А у него мать больная, к постели прикована, и детишек двое.

— Это правда? — спросил Алеша, повернувшись к говорившему.

Тот слегка смутился, но ответил:

— А как же не правда? Спросите завтра у самого Землухина, он вам эту эпопею изложит. Знаете Земнухина — высокий такой, худой, в сборочном работает...

— Точно, точно! — вмешался третий гость. — Словчил новосел наш. Подставил ножку слабенькому.

Алеша нахмурился и отодвинул рюмку:

— Какого ж черта...

— Характер у него тихий, у Земнухина,—сказал третий гость. — Вот и воспользовались.

Радиола играла что-то развеселое.

Дмитрий Дмитриевич откашлялся.

— Тише! — воскликнула жена Фоминцева и выключила радиолу. — Дмитрий Дмитриевич будет речь говорить!

Дмитрий Дмитриевич встал с рюмкой в руке.

— Извините, Дмитрий Дмитрич, — поднялся вдруг и Алеша, — разрешите, на этот раз я речь скажу. Так, как у вас, у меня не выйдет, конечно; я по-своему, несколько слов. Я предлагаю выпить за хозяина этой квартиры и за его семью.

— Алешка, друг, — крикнул Фоминцев, махая рукой. — Проспал, за меня уже пили и пили!

— Нет, Фоминцев, не за тебя. За того, кто ее должен был получить... кому ты дорогу перебежал.

— Как, как?

— Кому же ты перебежал дорогу? Своему брату, рабочему...

— Да ну вас к черту! — крикнул Фоминцев. — Никому я не перебегал ничего. Дали ордер — взял, в чем дело? Я за горло не хватал. Я сказал: не дадите квартиру — значит, не цените, уйти придется.

— Это называется — не хватать за горло, — усмехнулся Валентин.

— А в чем дело? — спросил Фоминцев. — Да нас с вами на любом заводе с руками и с ногами оторвут!

— Это мы знаем, — сказал Валентин. — Но у тебя жилье было, так? Мог и обождать, так? Земнухину нужнее, так?

— Что вы праздник портите, — сказала жена Фоминцева. — Людям удовольствие, а они зудят.

Алеша всё стоял с рюмкой в руке. Он словно задумался, глаза его ярко блестели.

— И Земнухин получит, — сказал Фоминцев. — Сейчас вон сколько строят, получит и Земнухин... Вот, понимаешь! — он развел руками, приглашая всех разделить его возмущение. — Я виноват, что мне квартиру дали!

— Те, что дали, тоже виноваты, — сказал Алеша. — И мы тоже, что прохлопали несправедливость. А где то место, где совесть дают, интересно...

— Ну ладно, совесть! — уже грубо заорал Фоминцев. — Хватит лекции читать!

Алеша поднял рюмку:

— Так вот, товарищи: за хозяина!

Некоторые гости были уже в том состоянии, что и не поняли, о чем речь; только поняли, что им предлагают выпить еще. Другие всё поняли и выпили с нерешительностью, смущенно усмехаясь. Третьи, затрудняясь стать на ту или другую сторону, воздержались пить. Надя слушала брата с обо-

жанием и пламенной верой; выпила свою рюмку и огляделась торжествующе. Родня Фоминцева насупилась. Дмитрий Дмитриевич смотрел в стол, крутил свою рюмку и морщился.

— Зудят, зудят, покою не дают, — сказала жена Фоминцева. — На собрание идите с вашей критикой и самокритикой!

— Жена, тихо! — сказал Фоминцев и подошел к Алеше вплотную: — Выматывайся отсюда, понял? Выматывайся со своей болтовней!

Надя вскочила...

— Полегче! — сказал Валентин и, отстранив Фоминцева, крепко взял его за грудь. — Что, жжет правда-то?

Гости окружили их.

— Пошли, Валентин, — сказал Алеша и обратился к гостям: — Пошли, товарищи, кто на этом полюсе! Пошли, Надежда!

Валентин взял с кровати запищавшего ребеночка и пошел за Алешей вместе с женой. За ними, торопливо выбравшись из-за стола, — Надя. За Надей, под руку со своей старушкой, — Николай Николаевич.

— Николай Николаич, Николай Николаич, — закричал Фоминцев, — ну что это такое!.. Дмитрий Дмитрич!

— Сядь ты! — сказал Дмитрий Дмитриевич, морщась.

— Хоть вы заступитесь, Дмитрий Дмитрич!

— Вот всегда я за тебя заступался, — сказал Дмитрий Дмитриевич, — а сегодня не буду. Не тот случай. Да ну сядь ты, не лотошись!

Жена Фоминцева включила радиолу. Бедовая музыка заглушила разговор.

В субботу после смены начальница Надиного цеха вышла на середину и громко сказала:

— Товарищи! Внимание!

— На середину вызывают, — заговорили девушки. — Пойдем послушаем, кого-то, наверно, прорабатывать будут.

— А может, поздравлять.

— А может, кто-нибудь замуж вышел?

— А мы бы не знали? — спросила Оля. — Нет, скорей всего попадет кому-нибудь.

Работницы собрались на середину, с удовольствием распрямляясь.

— Смирнова! — позвала начальница цеха. — Подойди сюда.

Надя подошла, не понимая, в чем дело.

— Товарищи! — сказала начальница. — Сегодня у нашего товарища Надежды Смирновой приятный день в жизни — день рождения. Мы решили поздравить в обстановке всего цеха, а не только бригады, потому что это первый ее день рождения у нас в коллективе. Мы тебе желаем, Надя, долгих лет жизни и хорошей работы на производстве. Вот так. А это тебе подарок от товарищей.

И она протянула Наде большую вазу для цветов, высоко ее поднимая, чтобы всем было видно, что́ за подарок.

Все захлопали, Надя заулыбалась, сказала «спасибо», и на этом собрание кончилось.

— Так сегодня твой день рождения? — сказали девушки, рассматривая вазу. — Поздравляем!

— Поздравляем, поздравляем! — говорили и в умывальной, где они мыли руки после работы и наводили красоту.

— Вот Дима не знает, — сказала толстенькая Катя. — Он бы тебе обязательно индивидуальный и личный подарок преподнес.

Надя скривила губы:

— Дима? Чего это ради!

— Либо цветы, либо конфеты. Уж он бы расстарался.

Надя сделала загадочное лицо и тряхнула головой.

— Очень он мне нужен! — сказала она. — Неля, дай мне твою помаду, хочу попробовать, пойдет мне или нет.

— Вы подумайте, что делается! — сказала Катя.

Надя подкрасила перед зеркалом губы Нелиной помадой и очень себе понравилась.

— Нет, вы на нее посмотрите! — серьезно сказала Неля. — Надька, у тебя кто-то есть, сознавайся!

Надя просияла — просто удержаться не могла, чтоб не просиять.

— Кто он? — посыпались вопросы. — Симпатичный? А сколько лет?

— А почему он тебя никогда не встречает? — спросила Оля.

— Потому что я ему не разрешаю! — вдохновенно ответила Надя. — У нас есть любимые места, где мы гуляем. Мы встречаемся только там. Он студент. Будет физиком. Атомщиком. По-моему, очень

симпатичный — стройный такой, волосы вьющиеся...

Она не замечала, что девушки перемигиваются и посмеиваются у нее за спиной, а Оля, не скрываясь, улыбается весело и добродушно.

Неля сказала всё так же серьезно:

— Интересно, что́ он тебе сегодня подарит или уже подарил?

— Еще не подарил, — сказала Надя. — Мне самой интересно.

Катя сказала:

— Конечно, на что тебе Дима, когда у тебя есть красавец с вьющимися волосами да еще физик-атомщик.

Домой Надя шла как всегда одна, неся под мышкой подаренную вазу.

Ее окликнула девушка Варя:

— Смирнова! Надя!

Не все молодые работницы швейной фабрики были похожи на Олю и ее окружение. Были там и серьезные, скромные девушки, державшиеся тихо и в стороне от Олиной группы. Одна из этих девушек, Варя, и нагнала Надю.

— Слушай, я давно спросить хотела. Чего ты с Олей дружишь? Ты же хорошая девочка, совершенно она не подруга тебе.

Наде обидно показалось, что Варя ее учит. Она спросила сдержанно:

— А она плохая разве?

— Одни развлечения в голове, — сказала Варя. — В университете культуры, например, ни разу не была. А ты почему не ходишь в университет культуры?

— Да как-то всё времени нет, — еще холодней сказала Надя.

Она заметила, что Варя посматривает на ее накрашенные губы, это было уже не только обидно, но и стыдно.

Она отвернулась и показала, что очень торопится и не расположена разговаривать, и Варя, обидясь в свою очередь, от нее отстала.

Потом Надя медленно шла по главной улице мимо магазинов, останавливаясь перед витринами.

Рядом остановились мужчина и женщина. Мужчина сказал:

— Выбирай, что тебе больше всего нравится.

Женщина ответила мечтательно:

— Вон то черное платье.

Надя вздохнула и вошла в магазин, мужчина и женщина тоже. И опять остановились рядом.

— Нет, — сказала женщина, — лучше всё-таки часы.

— Какие? —спросил мужчина.

— Вот эти! — она показала через стекло, и мужчина сказал продавцу с нежной улыбкой:

— Покажите нам, пожалуйста, эти золотые часики.

Надя завороженно глядела на эту пару... как вдруг ее кто-то толкнул изо всех сил — паренек какой-то.

— Псих! — буркнула Надя ему вслед и услышала женский крик:

— Держите! Кошелек! Украл! Вон он, вон!

— Вон он, вон! — зашумело в универмаге. Несколько мужчин бросились за пареньком вдогонку.

Надя схватилась за свою сумочку — сумочка была наискось взрезана бритвой.

— И у меня украл! — негромко ахнула Надя и тоже побежала к выходу.

Она бежала по улице, и какие-то люди бежали перед ней, и пронзительно свистел милицейский свисток, и вдруг обнаружила, что она одна бежит, а остальные кругом идут спокойно и смотрят на нее с удивлением — вор скрылся, погоня прекратилась... Надя пошла шагом, зажав под мышкой с одной стороны вазу, с другой — пустую изуродованную сумочку.

На площади мотоциклисты сдавали испытания — получали права. Стоял экзаменатор — инспектор ГАИ, экзаменуемые выделывали восьмерки на мотоциклах, а кругом расположились мужчины и мальчишки: приросли к земле, смотрели. Один мужчина был с детской коляской. Одного мальчугана мать, видно, в булочную посылала, у него в авоське был хлеб. Мать ждала хлеба, а мальчишка всё на свете забыл... Среди зрителей находились две-три женщины, молодые и недурные собой. Мужчины не обращали на них ни малейшего внимания. Не то это было место, где заводят знакомства. И Надя подошла и смотрела, как дядька выделывает восьмерки.

— Надя! — окликнул Дима. Он стоял со своим мотоциклом возле гражданина, покачивавшего младенца в коляске.

Надя кивнула и пошла было, Дима за ней.

— Вот, послали на передачу, — сказал он так,

словно передача была невесть каким радостным событием. — Правило нарушил.

— Да? — спросила Надя, чтобы что-нибудь сказать.

— Рассеянность, понимаете? Еду и не замечаю.

Ужас, до чего он был несуразный.

— Вот, понимаете, на работе ведь не рассеянный, и на мотоцикле рассеянный. Чем вы это объясните?

И чего, спрашивается, разговорился? Идет рядом и смотрит на нее так, что прохожие бог знает что могут подумать.

— Откуда же я знаю, — сказала Надя.

— А я смотрю и думаю, — говорил он оживленно, — вы или не вы? Не сразу даже узнал. Вам очень идет губная помада! Очень! Вы не хотите покататься? Моя очередь еще нескоро. Одну минутку! Вы не бойтесь, я не буду рассеянный, когда с вами, я осторожно... Минутку!

Он побежал назад, к мотоциклу. А Надя юркнула в первое попавшееся парадное и стояла, притаясь, пока мимо не прогрохотал мотоцикл. Она выглянула, убедилась, что Дима проехал, быстренько свернула в переулок и пошла домой.

Прежде чем свернуть на свою улицу, зашла еще в телефонную будку. Достала зеркальце — оно уцелело во внутреннем кармане сумочки — и платком стерла помаду с губ, а остатки слизала языком.

Очень выросли деревья, посаженные когда-то жильцами на субботнике.

Надя поднялась по своей лестнице, открыла дверь ключом.

Из ванной выглянул Алеша, в майке, с мокрыми руками — он стирал.

— Надежда! Я тебя поздравляю! Там на столе — это тебе.

На столе стояла открытая коробка с пирожными и закрытая с чем-то еще.

Надкусив пирожное, Надя стала развязывать вторую коробку.

— Алешка! Ох, Алешка!..

Во второй коробке была сумочка.

— Алешечка, ну как кстати, ты себе даже не представляешь, до чего кстати! Тебе сердце подсказало, да, что мне это самое нужное?

— Чтó сердце подсказало? Просто видел, что у тебя уже старая... Слушай, опять у меня все рубашки грязные, завтра в школу надеть нечего.

— А потому что у тебя мало рубашек, я тебе сколько раз говорила!

— Ну да — мало! — сказал Алеша. — Целых три или даже четыре!

— А что ж, это много, что ли? Я говорила — надо еще купить.

— Можно купить и тридцать и сорок, — сказал Алеша, — так если их не стирать, опять-таки носить будет нечего, верно?

— Ладно, иди, — сказала Надя, взглянув на сумочку и устыдившись. — Я сделаю.

Она переоделась в затрапезные одёжки и принялась за стирку, говоря со вздохом:

— Самое страшное, что на свете есть, — это мужские рубашки!

Новую сумочку она повесила перед собой на стене и, стирая, посматривала на нее, любуясь.

Оля сказала Наде:

— Помоги мне, а? Хочу поскорей сегодня дать норму — уйти мне надо пораньше.

Надя с готовностью согласилась и стала на своей машине делать Олину работу, и часа за два до конца смены Оля исчезла из цеха, сказав Наде:

— Ты дуся.

— Что ты, Смирнова, не справляешься? — спросила мастерица, увидев, что у Нади ее работа не сделана.

— Не успела, — сказала Надя. Она не выдала подругу, и вся эта операция прошла незамеченной.

Оля сказала:

— Ты меня очень выручила. Ну, за мной не пропадет! — И она подмигнула значительно.

— Завтра в ресторан иду, — рассказывала она подругам. — М о й собирает друзей...

А Наде шепнула потихоньку от остальных:

— Пойдешь со мной в ресторан. Я тебя приглашаю. Там такие интересные ребята будут... Твой физик не запротестует? — спросила она лукаво.

— Конечно, нет, — сказала Надя. — Он верит в меня, как в самого себя, и дает мне полную свободу.

———

В ресторане она была первый раз, и всё ей очень нравилось. Друзья Олиного поклонника были такие шикарные и любезные, и сам Олин поклонник, сидевший возле Нади, был к ней внимателен, спрашивал:

— Ну как? Вам здесь нравится?

Или:

— Вы позволите вам налить?

Ответа, правда, не дожидался, наливал и отворачивался к другим сотрапезникам. Но Наде и без него было интересно, она с удовольствием ела, пила, слушала музыку и разговоры.

За их столом сидело человек двенадцать. Один овладел общим вниманием, что-то рассказывая. Надя прислушалась. Он говорил:

— В общем, человек пропасть не может, если имеет голову на плечах. Но главную науку мне преподал мой незабвенный учитель. Он вполне бы мог управлять небольшим государством, а не той конторой, которую ему всучила судьба. Научил он меня много смотреть, много делать и много молчать, а если я и разговариваю, то слова мои таковы, что хоть сейчас в печать, комар носа не подточит, скажете — нет?

За столом засмеялись, а Надя оглядела их удивленно и спросила у Олиного поклонника:

— Что он сказал смешного?

Рассказчик добавил:

— Прошу почтить память моего учителя вставанием. — Все встали, Надя тоже. Садясь, она звонко спросила:

— А кто был его учитель?

— Великий человек, — ответил Олин поклонник. — Артист. Художник.

Потом пошли танцевать, и Надя без устали танцевала весь вечер с этими роскошными кавалерами и веселилась от души, хотя новые туфли на каблуках-шпильках здóрово жали ей ноги.

Ушли, когда уж ресторан закрывался. На улице, почти пустой, — кроме их компании никого не было, — Олин поклонник взял Олю и Надю под руки... И случилось что-то неожиданное, непонятное и страшное: какие-то люди встали на их пути, легко оттеснили девушек, а поклонника схватили за руки, втиснули в машину, стоявшую у тротуара, и машина умчалась, и когда ошеломленная Надя оглянулась — возле гостиницы были только она да Оля, роскошных друзей как ветром сдуло.

Потом послышались шаги, мимо прошли, торопясь, незнакомый молодой человек и девушка серьезного вида, оглядели Олю и Надю, что-то друг дружке сказали... Надя взяла Олю за локоть:

— Оля! Пошли.

— Не могу, — прошептала Оля. Она вся дрожала, привалясь плечом к каменной стене.

— Я провожу, — сказала Надя, видя, что подругу в самом деле ноги не держат. — Пошли, что ж стоять...

Они пошли через ночной город. Трамваи уже не ходили.

Не говорили ничего. Иногда Оля начинала плакать, прикусив концы головной косынки. Тогда Надя сочувственно и важно, как старшая, сжимала ей локоть.

Долго шли и пришли к Олиному дому. Надя раньше здесь не бывала. Дом был старый, деревянный, с маленькими окнами, на дальней окраинной улице. На цыпочках вошли в тесную кухню. Оля, как была в пальто, не села — упала на лавку у стола.

— Оля! — сказала Надя. — За что его? Что он мог сделать такого?..

Оля только всхлипнула... Дверь из комнаты отворилась, вошла заспанная женщина, на ходу застегивая платье.

— Чего случилось? — спросила она сердито. — Чего ревешь? — Оля зарыдала. — Ну? В чем дело?

— Костика... — сквозь рыдания выдавила Оля, — ...взяли!

— Взяли-таки! — удовлетворенно сказала женщина. — Туда и дорога! Я тебе говориииила, — закричала она, — говориииила я тебе, что он подонок, Костик твой!

— Ты мне говориииила, — закричала и Оля, и лицо ее стало злым, безобразным, — ты мне говориииила, подумаешь! Ругаться можешь, а чтó ты для меня сделала, сделала ты для меня что-нибудь?!

— Я для нее не делала, вы подумайте! — закричала женщина еще громче. — Я тебя на свет родила, я на тебя вот этими руками, — она протянула жилистые темные руки, — всю жизнь работала!

На крик выглянули из комнаты двое испуганных ребятишек.

— Много я с твоей работы имела, — завизжала Оля, — я только с Костиком настоящую жизнь увидела!

— Ворюга твой Костик! Ворюга!

— Ну ворюга, а тебе что? Твое воровал, да?

— Так ты, негодяйка, знала! — вскрикнула мать.

— Ну знала, ну знала, а тебе что?

Надя повернулась и вышла из кухни.

Выражение недоумения, ошеломленности сменилось на ее лице сначала ужасом, потом суровой сосредоточенностью. Ее дружба, ее восхищение Олей, ее сострадание к Оле были оскорблены, растоптаны... Суровая, шла она по ночному городу, размышляя о случившемся.

Что-то добавочно терзало ее, еще что-то кроме всего того, что произошло. Она сообразила: туфли! Ведь еще когда они ее мучили. Она сняла их, стащила чулки и пошла босиком, неся туфли в руке.

Алеша в тот вечер долго занимался, решал задачи, и всё чаще посматривал на будильник, и лицо его всё темнело.

Наконец он не мог больше заниматься и лечь не мог, — сидел, распрямившись, сцепив на затылке пальцы, и вслушивался. Замирали и замерли ночные звуки.

Нади не было.

Алеша, встал, проверил, в кармане ли ключ от квартиры, и вышел на улицу.

Ни единой души не было на улице. Он ходил вдоль дома, доходил до угла... Нади не было.

Но вот завиднелась под ночными фонарями маленькая фигурка, и он остановился, обессиленный тревогой, боясь ошибиться, еще не смея поверить, что это Надя. Но то была она, он пошел ей навстречу, и она перед ним остановилась, подняв на него глаза.

— Слушай, Алешка, — сказала она тихо, и при взгляде в эти глаза он почувствовал, что у него гора свалилась с плеч: нет, ничего не могло произойти худого...

— Слушай, не говори сейчас ничего, ладно? Я хочу сама, понимаешь — сама подумать хорошенько... и потом я тебе расскажу. Пожалуйста!

И Алеша не сказал ничего. Покачал головой, и пошли вверх по лестнице — он сзади, Надя впереди босая, с туфлями в руке.

Тетя Жанна Васильевна писала: «Когда же вы приедете погостить, мои дорогие, мы так вас ждем, и я и дядя».

— Съездим, что ли? — спросил Алеша у Нади.

— А чего, съездим, — сказала Надя. Тетина коробка из-под конфет, с Иван-царевичем и Царь-девицей, до сих пор стояла у нее на столике.

И в отпуск, в конце лета, они собрались.

— Погостим недельку, — сказал Алеша, — а если не будем в тягость, то и дней десять.

Сперва ехали в поезде. Лежавший на верхней полке мужчина долго на них смотрел и наконец сказал:

— Простите мой вопрос. Смотрю на вас и не пойму: кем вы друг другу будете? Не то муж и жена, не то кто. Простите мой вопрос.

— Брат и сестра, — сказал Алеша. Надя подошла, неся два стакана чаю.

— Понятно теперь, — сказал мужчина. — А то смотрю — вроде молодые, друг к другу заботливые, а не целуются! В чем дело?! Понятно теперь.

Мимо окон бежал бесконечный, как море, северный лес.

Потом они плыли на пароходе по Двине. Когда кончились лесные заводы и склады, на много километров растянувшиеся выше Архангельска, — начали плыть навстречу, словно струясь вместе с рекой, леса и луга, деревушки и городки, почти сплошь деревянные. Иногда вырастала на берегу старинная церковь, прекрасная до слез. И всё это плыло неторопливо, в ритме плавного движения парохода, то приближающегося к крутому правому берегу, то отходящего от него, повинуясь поворотам реки и фарватера.

А за кормой летали чайки, танцуя в воздухе и свободной дугой уплывая прочь.

На палубе с ними рядом какой-то молодой человек сказал, глядя на древнюю церковь:

— Подумать только, что одним топором это сработано, даже пилы не знали тогдашние строители, одним топором!

— Головой это сработано, — сказал Алеша. — Головой в первую очередь.

— Смотрю я на всю эту красоту, — сказала Надя, — и думаю — нигде мы с тобой, Алешка, не были.

— Еще побываешь, — сказал Алеша. — Всё повидаешь — и море, и горы, и бахчисарайский фонтан... Пешком бы эти места обойти, во все уголки заглянуть!

Тетя встретила их на пристани. Она была всё такая же моложавая и приятная.

— Наконец-то! — воскликнула она. — Милые вы мои, боже, как выросли, невероятно!.. Поехали, дядя ждет.

Подкатила машина.

— Это ваша машина? — спросила Надя, когда сели и поехали.

— Нет, это служебная, с дядиного завода, — небрежно ответила тетя и опять кинулась обнимать Надю. — Деточка моя, какая же ты стала миленькая! Только эта прическа не особенно тебе идет. Если бы маленькую челочку на лоб...

Она ввела племянников в небольшой уютный загородный дом.

— Вот в этой комнате ты будешь жить, — сказала она Наде. — Тут бы ты всегда жила, если бы Алеша тогда не сглупил и отдал тебя мне... А ты, Алеша, будешь спать на этом диване. Вот и дядя, он будет в восторге!

Вошел плотный серьезный мужчина лет пятидесяти.

— Привет, племяннички, — сказал он. Непохоже, чтоб он был в восторге.

— Приехали, значит? Жанна мне голову отъела — когда же вы приедете. Ну ладно. Надолго вы?

— Дня на четыре, — сказал Алеша.

— Как! — воскликнула тетя. — Всего на четыре дня?! Ты подумай, Петечка!

Сидели за обедом.

— Так ты, значит, бригадир, — говорил дядя Алеше. — Руководишь, значит.

— Отвечаю, — сказал Алеша.—Отвечаю за свою бригаду.

— Ах, Алешенька, — сказала тетя, — если бы ты в свое время переехал в Архангельск, уж ты бы сейчас был, поверь, не бригадиром. Уж дядя помог бы тебе выдвинуться. Конечно, всё в жизни на что-нибудь годится, но сколько можно сидеть на производстве?

Дядя жевал молча.

— Ты посмотри, Петечка, — сказала тетя, — как Наде пошло бы, если б она носила челочку.

Тетя опустила Наде волосы на лоб и залюбовалась.

— Ничего подобного, — возразил дядя.—Вот так лучше.

Он протянул руку и забрал Надины волосы назад со лба, так что кожа натянулась и поднялись брови.

— Вот! — сказал он. — Скромность! Наилучшее украшение молодежи!

— Да ну тебя! — сказала тетя, кокетливо шлепнув его по руке, и снова соорудила Наде челку.

Надя сидела, не зная, как ей держаться и что говорить...

Огромный холеный кот вскочил на стул и поставил лапы на стол, требуя внимания.

— Ах, Фомочку забыли! — воскликнула тетя. — Ах, какая у Фомочки мама нехорошая, забыла Фомочку, сейчас мама Фомочку покормит, сейчас!

После обеда дядя показывал племянникам свой садик, огород, теплицу.

— После работы приедешь, — рассказывал он, — голова гудит от вопросов, возьмешь лейку, возишься на свежем воздухе... Так, для себя лично. Приятно, и для здоровья хорошо. Жанна цветы любит, а я больше по огородной части. Вон у меня капустка какая.

— Ну, ступайте, погуляйте,—сказал он, заметив, что племянники смотрят на калитку. — Ужин в восемь. Не опаздывать. Кто опоздает, без ужина сидит.

— Гостеприимство высокой марки, — тихо рассмеялся Алеша, выйдя с сестрой за калитку.

— Я знаешь что думаю? — спросила Надя. — Я думаю — а зачем нам тут быть четыре дня?

— Не знаю зачем, — смеялся Алеша.

— Два дня побудем, и достаточно, правда?

Сидели за ужином.

— Вот ты говоришь — молодежь, — сказал дядя, обращаясь к Алеше. — А что нынче за молодежь?

— По-моему, — ответил Алеша, — хорошая нынче молодежь.

— Да? Хорошая? И что́ же она такого хорошего делает, нынешняя молодежь?

— Мало ли что. Например, завоевывает космос.

— Это особь статья!

— Почему же особь? — вдруг звонко спросила Надя. — Та самая статья.

— У тебя не спрашивают, — сказал дядя. — Взрослые спорят, ты помолчи, послушай. Космоса давай не касаться, — сказал он Алеше таким тоном, словно космос был нечто засекреченное, не подлежащее обсуждению. — Еще что?

— На производстве молодежи много. В науке...

— В производстве я получше тебя разбираюсь. Двадцать лет во главе отдела кадров. Производства касаться не будем.

— А чего будем касаться? — спросил Алеша.

— Вот она подтвердит. — Дядя мотнул головой на тетю. — На той неделе выбрались в театр. Входим в фойе, навстречу два, понимаешь, молодчика с девчонками, под руки сцепились, хохочут, понимаешь, во всё горло, нет чтоб старшим дорогу дать, даже не смотрят, кто идет, — так и прут!

— Ну как же так, — сказала Надя. — Как же так — по двум молодчикам судить о нас обо всех! — Она подняла на дядю огорченный взгляд и выпалила то, что вертелось у нее на языке: — По-моему, вы совершенно не знаете молодежи!

— Видал? — спросил дядя у Алеши. — Вот тебе.

— Надечка! — строго остановила тетя. — Разве можно так говорить с дядей? Как может дядя с его опытом не знать молодежи, ты подумай! Ты должна извиниться, деточка. Сию же минуту.

— В чем? — спросила Надя.

— В резкости. В дерзости. Дядя в отцы тебе годится...

— Нет, — сказала Надя. — Не годится.

— Надежда! — прикрикнул Алеша.

Надя упрямо, как бычок, опустила голову и вышла из-за стола.

Ночью в спальне дядя говорил тете:

— Как в воду смотрел. Никогда мне не нравились твои планы. Он о себе чересчур воображает. А она просто нахалка. Всё-таки свои дети — другое дело. Разве бы такие у нас были дети?

Тетя грустно отвечала со своей кровати:

— Уж пусть хоть не свои, если нет своих. Всё-таки светлее в доме...

— Да ладно, — сказал дядя успокоительно, — пускай поживут, если они тебе в утеху. А мне, говоря откровенно, только горечь одна...

Алеша лежал на диване и курил в темноте. Отворилась белая дверь, вошла Надя.

— Алеша, спишь? — спросила шепотом.

Увидела огонек папиросы, бесшумно босиком подбежала, присела на край дивана:

— Алешка, я не выдержу два дня!

— Завтра вечером пароход, — ответил он.

— Уйдем отсюда сейчас!

— Не дури. Хватит.

— Алешка, ты на их стороне?!

Алеша заговорил медленно, нехотя:

— Я, знаешь, чем дальше, тем больше трескотню не люблю. Все эти громкие слова... Что значит — на их стороне? Чтó он — неприятель, что ли?.. Ты мне скажи: нахамила ты ему или нет?

— А зачем он!.. — запальчиво начала Надя.

— Стой. Нахамила или не нахамила? Я спрашиваю. — Она молчала. — Конечно, нахамила. Сидишь у людей за столом и хамишь им. А что ты о них знаешь? Что?.. Воображаешь, что ты их перевоспитываешь... Вот мы тогда у Фоминцева на новоселье были, нашумели при гостях — а сейчас я думаю: какой мы цели достигли? Оконфузили человека, рассорились с ним, оттолкнули от себя, а смысл? Переделали мы его, что ли? Грубостью ничего не

добьешься. Спокойно надо было поговорить в серьезной обстановке... И что это будет, если все начнем друг другу хамить, друг друга толком не зная? У меня, у тебя — нет недостатков? Так-таки во всем мы правые?

Надя сидела и слушала, не возражая и не соглашаясь.

— Иди! — приказал Алеша, и она послушно пошла из комнаты, затворила за собой дверь.

Загоревшая, посвежевшая, вернулась Надя после отпуска на фабрику.

— Ну, как съездила? — встретили ее девушки.— Ничего? Повидала своих?.. Ах, слушай, мы тут ходили культпоходом в театр, на премьеру, ты сходи обязательно! «Ромео и Джульетта».

— Непременно пойди посмотри! — сказала и серьезная Варя. — Это так обогащает. Такая любовь! — Она покачала головой, не в силах выразить свой восторг.

И целый день Надя слышала, как кругом, работая, говорят о новом спектакле.

— Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, — декламировала одна девушка.

— Я всё-таки не поняла, — сказала другая, — почему они умерли?

— Что же тут непонятного! — строго сказала Варя. — Потому что им не позволили друг друга любить.

— Попробовали бы мне не позволить, — сказала

еще одна. — И разговаривать не стану, пойду в загс, и всё.

— Это же была эпоха мракобесия! — сказала Варя.

Еще одна:

— А какие на Джульетте платья! Жалко, что теперь так не носят.

Бывшая Надина наставница сказала со вздохом:

— Да, посмотришь такую пьесу, вспомнишь молодость... Теперешняя молодежь на такую любовь не способна. Нет у вас, знаете, этой способности к всепоглощающему чувству.

— Конечно, как же! — сказали, обидясь, девушки. — У вас была способность, а у нас нет? Очень даже есть, чтоб вы знали!

Надя слушала и озиралась.

— А Оля в отпуске? — спросила она у Кати.

— Уволилась Оля, — ответила Катя. — В дамское ателье перешла. Совестно перед нами, наверно. А что́, господи, с каждой может случиться...

В обеденный перерыв к Наде подошел Дима и, радостно улыбаясь, сказал:

— Я взял билеты — два! — на «Ромео и Джульетту». Вы должны это увидеть! В четверг мы идем. Очень хорошие места: партер, третий ряд!

Всё такой же несуразный: словно Наде интересно было идти с ним в театр, какие бы там ни были места. Никак не мог понять, что он для нее просто не существует на свете.

И хотя она даже не поблагодарила и смотрела на него, подняв брови, холодным взглядом, он повторил, сияя:

— Не забудьте! Четверг! — и опять ей стыдно было перед подружками.

Дома Алеша, с только что вымытыми мокрыми волосами, старательно чистил зубы.

— Чего ты зубы чистишь? — спросила Надя. — Ты же утром уже один раз чистил.

— Я иду в театр, — сказал Алеша, прополоскав рот. — На «Ромео и Джульетту».

— А я? — спросила Надя.

— Я с товарищем, — сказал Алеша.

И стал повязывать галстук, напевая на мотив «Всё выше, и выше, и выше»:

Нет повести
печальнее
на свете,
чем повесть о
Ромео и Джульетте!

— Черт его знает, — сказал он, — не идет этот галстук к этой рубашке, верно?

— Чего ты такое старье надел,—сказала Надя,— его выбросить давно пора.

— Потому что мой новый еще старее, — сказал Алеша. — И вообще у меня, оказывается, совершенно нет галстуков. Хороша, нечего сказать, сестра — нет чтобы братишке новый галстук подарить.

Надя удивилась:

— Чего ты вдруг? Пожалуйста, куплю тебе галстук, с удовольствием...

Алеша быстрым шагом подходил к театру, а навстречу ему шла молодая женщина.

— Здравствуй, — сказали они друг другу, взялись за руки и пошли вместе.

— Какая ты сегодня... — сказал он ей — словно поцеловал.

— И ты... — сказала она — словно поцеловала.— И какой у тебя галстук красивый, я его еще не видела. Замечательно идет к этой рубашке...

Четверг настал.

— Ну, сегодня ты увидишь «Ромео и Джульетту»! — сказала Наде Неля.

— Я, наверно, не пойду, — сказала Надя.

— Не пойдешь?! — ахнула Неля. — Это почему?

Надя не успела ответить. Подошла Варя:

— Девочки! Дима-то наш!

— Что такое? — спросили у нее.

— Разбился.

— Как разбился?

— Да на мотоцикле своем. Машина налетела. В больницу отвезли.

— Надо же, — сказала бывшая Надина наставница. — Такой молодой, неужели калекой будет?

— Молодой? — удивилась Надя.

— А то старый! — сказала наставница. — Двадцать семь ему; столько же, сколько я тут работаю. Кому-нибудь надо в больницу съездить.

— Смирновой надо съездить, — строго сказала Варя.

— Правильно, — сказали другие. — Поедешь, Надежда. Денег соберем, девочки, на фрукты. Вот вам и Ромео и Джульетта!

«Почему я?» — хотела спросить Надя, но поняла, что отношение Димы к ней ни для кого здесь не

было секретом, и, посылая ее к нему, они желали его порадовать. А в физика, может быть, они не так уж верили, подумала она и, опустив голову, занялась работой.

После смены, нагруженная фруктами, она пришла в больницу. Был впускной день, к больным пришли посетители. В палате, которую ей указали, одна койка была пуста.

— На перевязку взяли, — сказали больные. — Кровотечение опять открылось. Вы посидите, его принесут.

Наде стало жутко, нехорошо. Она села на табуретку, косясь на пустую смятую постель.

Диму не несли, она сидела и наблюдала, что происходит кругом.

Старички родители пришли к сыну, и почему-то плачет сын, и отец — такой интеллигентный, должно быть профессор, — тоже вытирает глаза, а мать, молодец женщина, их обоих утешает.

Девушка принесла молодому человеку цветочки, и оба рады и целуются потихоньку, воображая, что никто не видит.

Сердитая жена пришла к сердитому мужу и сердито, швырком, достает гостинцы из сумки, и они ссорятся, что-то злое говорят друг другу злыми ртами.

А на одной койке, подняв колени к подбородку, сидит парнишечка, плечо и рука в гипсе, никто к нему не пришел, к бедняге.

Диму не несли. Пришла нянька и стала снимать с его койки белье — свертывать простыни и стаскивать наволочку с подушки.

— Его разве не сюда принесут? — спросила Надя.

Нянька искоса ее оглядела:

— Который на мотоцикле разбился? Нет, не сюда.

— А куда?

— Туда не пускают, — сказала нянька.

— Ему плохо?

Нянька промолчала.

— Вы можете ему передать? — Надя протянула сетку с яблоками.

— Нет, — сказала нянька. — Не могу. — И ушла, унося белье.

Надя медленно шла из больницы. Пустая койка с полосатым тюфяком стояла у нее перед глазами.

Огромные яркие буквы заслонили койку, что-то напомнили эти буквы, Надя остановилась перед театральной афишей: «Ромео и Джульетта».

Это был вход в театр. Люди шли на спектакль, а другие толпились на улице и устремились к Наде, спрашивая:

— Лишнего билетика нет?

Надя покачала головой, они отошли. А ей представилось, как бы она с Димой — вот сейчас! — входила в театр... Рядом с Надей остановился какой-то человек. Она мрачно спросила:

— У вас нет лишнего билета?

Оказалось, что билет есть, и она его купила.

В раздевалке сдала гардеробщику пальто и яблоки и получила номерок.

Театр был переполнен. Надино место оказалось

под самым потолком. Но оно было у барьера, и она всё видела и слышала.

Джульетта была прекрасна. Ромео был прекрасен. Театр полнился вздохами и рукоплесканиями. Надя сидела тихо и не хлопала.

Зато когда юные любовники умерли и у зрителей глаза были на мокром месте — в тишине вдруг раздались Надины всхлипывания. На нее оглянулись: ее лицо залито было слезами, слезы капали вниз, в партер.

Она уходила, не замечая улыбок, громко сморкаясь в платочек.

В раздевалке стала в хвост, и уже когда ее очередь подошла, спохватилась — где же номерок.

— Куда-то задевался, — сказала она гардеробщику, ища в сумочке и в карманах.

— Ищите, — сказал гардеробщик и отвернулся к другим.

— Я вам так покажу, — сказала Надя. — Вон оно висит. Где сумка с яблоками.

— Подождать, гражданка, придется, — сказал гардеробщик. — Вот выдадим все польта, которое останется — ваше. И готовьте тридцать копеек.

— Почему тридцать копеек? — спросила Надя.

— За пропажу номерка.

— А если у меня нет тридцати копеек? — спросила Надя, но гардеробщик не слышал.

Надя отошла немного в сторонку и стала искать в сумочке и по карманам тридцать копеек.

— Что случилось? — спросил у нее энергичного вида паренек.

— Куда-то девала номерок, — сказала Надя.

— Может, в зале уронили? — деловито спросил паренек. — Вернемтесь, поищем!

— А пустят?

— Ну вот еще!

Но все двери в зал были уже заперты, и как энергично ни потрясал их паренек, — пришлось возвратиться в раздевалку ни с чем.

— Нет, это не в моем духе пьеса, — говорил Наде паренек. — Все перемерли, в чем дело? Я только такие пьесы признаю, чтоб кончались хорошо.

— А вы чего ждете, молодой человек? — спросил гардеробщик.

— Я — с ней, — сказал паренек.

— С ней, эхе-хе, — сказал гардеробщик. — Должон был номерок к себе в карман прибрать, такая твоя кавалерская должность.

Публика разошлась. Свет погас.

— Никого там больше? — спросил гардеробщик. — Гражданка, а гражданка! Платите тридцать копеек и получайте пальто.

— Видите! — укоризненно сказала Надя. — Я же вам говорила — мое! Но у меня только четырнадцать. — Она протянула ему деньги.

— Бросьте! — рыцарски сказал паренек. — Получите, товарищ.

Вышли из театра. Паренек нес яблоки.

— До свиданья, — сказала Надя и потянула сетку к себе.

— Но я же вас провожаю! — воскликнул паренек. — Это же само собой! Так поздно, как же вы...

— Спасибо, — сказала Надя. — Не нужно.

— Но почему?!

Она посмотрела на его добродушное огорченное лицо и попыталась объяснить:

— Понимаете, сегодня... умер один человек... — У нее перехватило горло, она повернулась и быстро пошла прочь.

Однажды — это уж осенью было — пришла Надя домой. Снимая в передней грязные ботинки, услышала, как Алеша говорит кому-то:

— Это сестренка пришла.

Надя вошла в комнату. У стола сидела незнакомая молодая женщина. Алеша расхаживал, сцепив руки на затылке. У Алеши и у женщины было одинаковое выражение лица — лучезарно-рассеянное, оба туманно улыбались и смотрели на Надю будто издалека.

— Знакомься, — сказал Алеша женщине. — Это Надя.

— Здравствуй, Надя, — приветливо сказала женщина и, встав, протянула руку.

— Здравствуйте, — ответила Надя, глядя то на нее, то на Алешу.

— Она хорошая, — сказал Алеша Наде. — Ты так и знай, что она хорошая. А зовут Клава.

Они с женщиной посмотрели друг другу в глаза — словно поцеловались.

Надя вышла на кухню и машинально принялась разводить примус.

Тотчас же за ней вышла Клава.

— Разреши, я сама сделаю чай! — попросила она с той же туманной улыбкой, как будто всё, что

было с ней, происходило в каком-то прекрасном сне. — Вот здесь у тебя посуда, значит. А здесь продукты, понятно.

Она открыла один шкафчик, другой и, несмотря на такое свое отвлеченное состояние, стала умело и ловко накрывать на стол, заваривать чай, а Алеша за ней ходил, как привязанный. Надя посмотрела, налила в таз воды и хотела стирать Алешину рубашку. Но Клава мягко отобрала у нее рубашку, сказав:

— Ну нет уж, дорогая, теперь это моя забота.

— Пожалуйста! — сказала Надя тихонько. — Мне что, мне еще лучше.

И стала опять натягивать ботинки.

— Куда ж ты? — спросил Алеша. — Сейчас чай пить будем.

— Мне тут надо, я вспомнила, — сказала Надя. — Вы пейте.

По лестнице поднималась Галина Петровна, постаревшая, но по-прежнему завитая и разукрашенная.

— Галина Петровна! — сказала Надя. — Алешка женился!

— Да что ты, — взволнованно сказала Галина Петровна. — Ну слава богу, давно пора, на ком же?

— Я ему больше не нужна! — сказала Надя с отчаянием.

— Не говори глупости.

Надя зарыдала:

— Она мне не позволила стирать его рубашки!

— Ну что ты как маленькая, в самом деле, — сказала Галина Петровна. Но Надя рыдала всё гром-

че, и Галина Петровна стала ее утешать, обнимая и гладя:

— Ну Надюша, Надюша... Ну успокойся, Надюша, ну перестань... Ты радоваться должна, что он счастлив, человеку обязательно нужно счастье, обязательно, и у тебя будет счастье, и Алеша порадуется за тебя...

Надя замотала головой:

— У меня никогда... ничего... ничего не будет! У меня уже всё позади!..

...Как бесконечно знакома Наде эта улица, на которую она выходит из фабричных ворот после смены.

Те же дома, те же щиты с портретами лучших работниц, те же встречающие ребята.

Надю по-прежнему никто не встречает. Идет суровая, и губы у нее не накрашены. С ней Варя, которую тоже не встречает никто.

— Интересно вчера было, правда? — спрашивает Варя. — Понравилось тебе?

— Очень! — отвечает Надя.

— После такой лекции прямо чувствуешь, что стал внутренне богаче, правда? — говорит Варя. — А в следующий вторник будет на тему — русская живопись. С демонстрацией картин великих художников.

Они беседуют, пока Варя не сворачивает в свой переулок.

Дальше Надя идет одна.

Здесь народу уже несравненно меньше, чем при

выходе с фабрики, и Надя замечает, что по другой стороне улицы идет, пристально на нее поглядывая, какой-то паренек. Она его, собственно, заметила еще когда они с Варей шли, и раза два повернула к нему голову, потому что подумала — я где-то его видела; но только когда народу на улице стало еще меньше и можно было лучше рассмотреть, она узнала энергичного паренька, который помогал ей в театре искать номерок и потом хотел проводить.

Нет, не то чтобы она так вот шла да и рассматривала его во все глаза, ни в коем случае. Ни улыбок, никаких не было, ни малейшего знака, что, мол, я тебя узнала и не прочь продолжить знакомство. Просто иногда взглядывала на него. А он на нее.

Приостановилась у киоска, купила журнал, взглянула — паренек на той стороне тоже приостановился, делает вид, что газету читает на стенде. Надя пошла, и он пошел.

Люди и автобусы проходили между ними, пройдут и уйдут, и опять они видят друг друга.

Дальше, дальше, с фабричных улиц к центру города, и через центр, и по сторонам длинного бульвара, где посредине в два ряда деревья, но можно между деревьями посмотреть и убедиться, что он идет и идет, никуда не делся.

Так шли они и шли по разным сторонам улицы, не сближаясь и не теряя друг друга из виду, — две параллельные линии, которые где-то, конечно же, встретятся...

1964 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕРА ФЕДОРОВНА ПАНОВА

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

САША

РАНО УТРОМ

Редактор
А. Плотникова

Художник
О. И. Маслаков

Технический редактор
И. М. Тихонова

Корректор
Е. Н. Куренкова

Сдано в набор 14/V 1966 г. Подписано к печати 31/VII 1966 г. Формат бумаги 70 × 108 $^{1}/_{32}$. Физ. печ. л. 8,25 + вкл. Усл. печ. л. 11,55. Уч.-изд. л. 9,52. Тираж 100 000 экз. М-27337. Заказ № 796

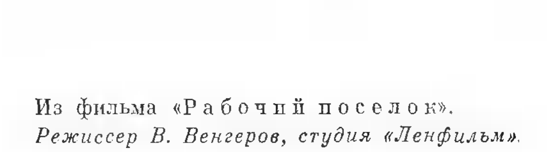
Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, Фонтанка, 57

Цена 37 коп.









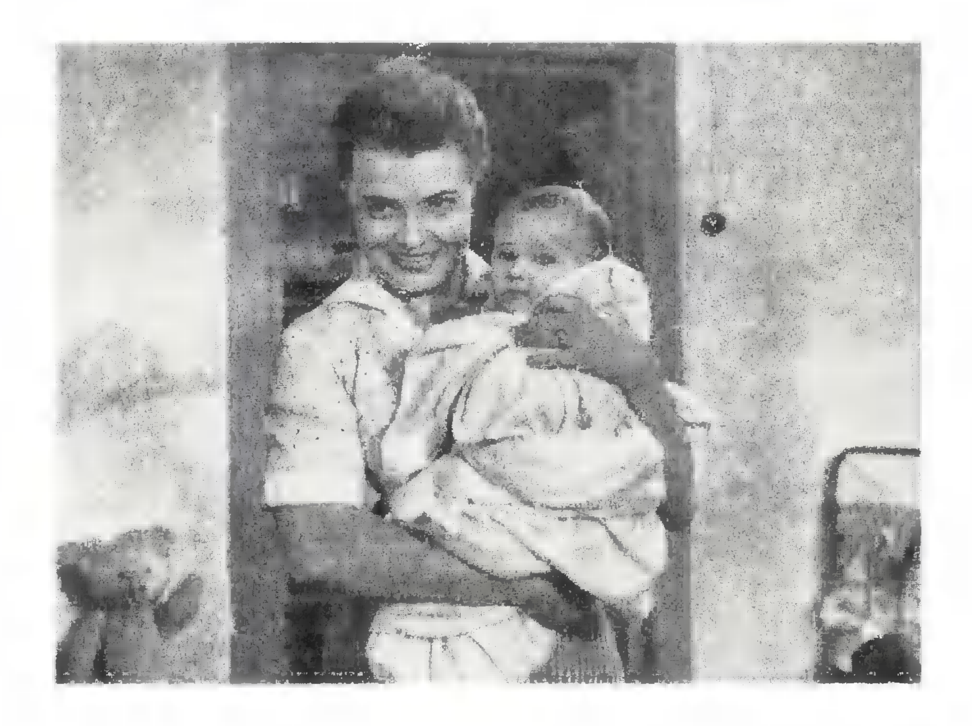
Из фильма «Рабочий поселок».
Режиссер В. Венгеров, студия «Ленфильм».





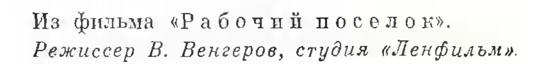


Из фильма «Рабочий поселок».
Режиссер В. Венгеров, студия «Ленфильм».









Из фильма «Рабочий поселок».
Режиссер В. Венгеров, студия «Ленфильм».



Из фильма «Рабочий поселок».
Режиссер В. Венгеров, студия «Ленфильм».







Из фильма «Рано утром».
Режиссер Т. Лиознова, студия им. М. Горького, Москва.



Из фильма «Рано утром».
Режиссер Т. Лиознова, студия им. М. Горького, Москва.



Из фильма «Рано утром».
Режиссер Т. Лиознова, студия им. М. Горького, Москва.





Из фильма «Рано утром».
Режиссер Т. Лиознова, студия им. М. Горького, Москва.



Из фильма «Рано утром».
Режиссер Т. Лиознова, студия им. М. Горького, Москва.


37 коп.